

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Современная идиллия



Михаил Салтыков-Щедрин

Современная идиллия

«Public Domain»

1877

Салтыков-Щедрин М. Е.

Современная идиллия / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1877

«...Залегли мы спать часов с одиннадцати, точно завтра утром к ранней обедне собрались. Обыкновенно мы в это время только что словесную канитель затягивали и часов до двух ночи переходили от одного современного вопроса к другому, с одной стороны ничего не предreshая, а с другой стороны не отказывая себе и в достодожном, в пределах разумной умеренности, рассмотрении...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| I | 5 |
| II | 16 |
| III | 26 |
| IV | 33 |
| V | 43 |
| VI | 48 |
| VII | 55 |
| VIII | 59 |
| IX | 67 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 70 |

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Современная идиллия

Спите! Бог не спит за вас!

Жуковский

I

Однажды заходит ко мне Алексей Степаныч Молчалин и говорит:

– Нужно, голубчик, погодить!

Разумеется, я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу.

Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этим словом, и вот выискивается же человек, который приходит к заключению, что мне и за всем тем необходимо умерить свой пыл!

– Помилюте, Алексей Степаныч! – изумился я. – Ведь это, право, уж начинает походить на мистификацию!

– Там мистификация или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет – погодить!

– Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?

– Русские вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить – ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь... Например: гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите, а вечером – в табельку или в сибирку засядьте. Вот это и будет значить «погодить».

– Алексей Степаныч! батюшка! да почему же?

– Некогда, мой друг, объяснять – в департамент спешу! Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы – русские; мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил, а последуете ли моему совету или не последуете, это уж вы сами...

С этими словами Алексей Степаныч очень любезно сделал мне ручкой и исчез. Это быстрое появление и исчезновение очень больно укололи меня. Мне казалось, что в переводе на язык слов этот факт означает: я не должен был сюда прийти, но... пришел. Во всяком случае, я хоть тем умалю значение своего поступка, что пробуду в сем месте как можно менее времени.

Да, это так. Даже руки мне порядком на прощанье не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил: «Готов я помочь, однако пора бы к тебе, сахар медович, понять, что знакомство твое – не ахти благостыня какая!» Я, конечно, не буду уверять, что он именно так думал, но что он инстинктивно так чувствовал и что именно это чувство сообщило его появлению ту печать торопливости, которая меня поразила, – в этом я нимало не сомневаюсь.

По обыкновению, я сейчас же полетел к Глумову. Я горел нетерпением сообщить об этом странном коллоквиуме, дабы общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, буде надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степаныча. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством... и набивал папироски.

– Ты что это делаешь? – спросил я.

– А вот, подходящее, по обстоятельствам, занятие избрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал, теперь – папироски делаю.

– Представь себе, ко мне Алексей Степаныч заходил и то же самое советовал!

– А я так сам догадался. Садись, вот тебе гильзы – занимайся.

– Позволь, однако, надо же хоть объясниться сперва!

– А тебе что Алексей Степаныч сказал?

– Да ничего путем не сказал. Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо!

– Чудак ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значит. Вот я себе сам, собственным движением, сказал: Глумов! нужно, брат, погодить! Купил табаку, гильзы – и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить».

– Помилуй! да разве мы мало до сих пор годили? В чем же другом вся наша жизнь прошла, как не в беспрерывном самопонуждении: погоди да погоди!

– Стало быть, до сих пор мы в одну меру годили, а теперь мера с гарнием пошла в ход – больше годить надо, а завтра, может быть, к мере и еще два гарнца накинется – ну, и еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить! Давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести. Вместе и годить словно бы веселее будет.

Затем мы в несколько минут начертали план действий и с завтрашнего же дня приступили к выполнению его.

Прежде всего мы решили, что я с вечера же переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать «годить». И не расстанемся до тех пор, покуда вакант сам собой, так сказать, измором не изноет.

Залегли мы спать часов с одиннадцати, точно завтра утром к ранней обедне собрались. Обыкновенно мы в это время только что словесную канитель затягивали и часов до двух ночи переходили от одного современного вопроса к другому, с одной стороны ничего не предпрещая, а с другой стороны не отказывая себе и в достодожном, в пределах разумной умеренности, рассмотрении. И хотя наши собеседования почти всегда заканчивались словами: «необходимо погодить», но мы все-таки утешались хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности, что воля с нас не снята и что если бы, например, выпить при сем две-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так: «Господа! да неужто же, наконец...»

Но теперь мы с тем именно и собрались, чтобы начать годить, не рассуждая, не вдаваясь в исследования, почему и как, а просто-напросто плыть по течению до тех пор, пока Алексей Степаныч не снимет с нас клятвы и не скажет: теперь – валяй по всем по трем!

Мне не спалось, Глумов тоже ворочался с боку на бок. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили в голову именно все такие, какие должны приходить людям, собравшимся к ранней обедне.

– Глумов! ты не спишь?

– Не сплю. А ты?

– И я не сплю.

– Гм... не зажечь ли свечу?

– Погоди, может быть, и уснем.

Прошло еще с полчаса – не спится, да и только. Зажгли свечу, спустили ноги с кровати и сели друг против друга. Глядели-глядели – наконец смешно стало.

– Постой-ка, я в буфет схожу; я там, на всякий случай, два куса ветчины припас! – сказал Глумов.

– Сходи, пожалуй!

Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Вот он в кабинет вошел, вот вступил в переднюю, вот поворотил в столовую... Чу! ключ повернулся в замке, тарелки стукнули... Идет назад!!

Когда человек решился годить, то все для него интересно; способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, а мысли – приходят во множестве.

– Вот ветчина, а вот водка. Закусим! – сказал Глумов.

– Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить – спать лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь об том, как эта самая ветчина ветчиной делается?

– Была прежде свинья, потом ее зарезали, рассортировали, окорока посолили, провесили – вот и ветчина сделалась.

– Нет, не это! А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил, выкормил? И почему он с нею расстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим...

– И празднословием занимаемся... Будет! Сказано тебе, погодить – ну, и жди!

– Глумов! я – немножко!

– Ни слова, ни полслова – вот тебе и сказ. Доедай и ложись! А чтобы воображение осадить – вот тебе водка.

Выпили по две рюмки – и действительно как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось, теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать – это целое занятие, целый умственный процесс, особенно если при этом имеется в виду практический результат. А так как в настоящем случае ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя и устраняя все, что могло нанести ему ущерб. Старался не переменять положения тела, всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск мысли, по преимуществу, ни с чем несообразный, даже целые сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за пределы моих скромных намерений), но, признаюсь откровенно, все они имели в своем основании слово «погодить».

Наконец, уже почти совсем сонный, я вымолвил:

– Да, брат! а насчет ветчины – все-таки... Это, брат, в своем роде – сюжет!

– Сюжет! – тоже сквозь сон ответил мне Глумов, и затем голова моя окончательно окунулась в облако.

Проснулись мы довольно рано (часов в девять), но к ранней обедне все-таки не успели.

– Впрочем, и то сказать, – начал я, – не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.

– Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит, – осадил меня Глумов, – но не об том речь, а вот я насчет горячего распоряжусь. Тебе чего: кофею или чаю?

Я задумался. Обыкновенно я пью чай, но нынче все так было необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!

– Кофею, братец! – воскликнул я и даже хлопнул себя по ляжке от удовольствия.

Подали кофею. Налили по стакану – выпили; по другому налили – и опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.

– Калач-то от Филиппова? – спросил я.

– Да, от Филиппова.

– Говорят, у него в пекарне тараканов много...

– Мало ли что говорят! Вкусно – ну, и будет с тебя! Глумов высказал это несколько угрюмо, как будто предчувствуя, что у меня язык начинает зудеть.

– А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...

– Что «калач»?

– Ну вот родословную-то его... Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит, у кого лежит, как этот человек за сохой идет, напирая на нее всею грудью, как...

– Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофею с калачом пьем, да и тебе только это знать советую!

– Глумов! да ведь я немножко! Ведь если мы немножко и поговорим – право, вреда особенного от этого не будет. Только время скорее пройдет!

– И это знаю. Да не об том мы думать должны. Подвиг мы на себя приняли – ну, и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофей, да идем гулять! Вспомни, какую нам палестину выходить предстоит!

В одиннадцать часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.

– Вот, брат, и суд наш праведный! – сказал я.

– Да, брат, суд! – вздохнул в ответ Глумов.

– А коли по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...

– Да обуздай наконец язычище свой! Ну, суд – ну, и прекрасно! И будет с тебя! Архитектура вот... разбирай ее на здоровье! Здание прочное – внутри двор... Чего лучше!

– Да, мой друг, удивительно, как это нынче... Говорят, даже буфет в суде есть?

– Есть и буфет.

– А ты не знаешь, чем этот буфет славится?

– Водки рюмку выпить можно – какой еще славы нужно!

Котлетки подают, бифштекс – в звании ответчика даже очень прилично!

– Удивительно! просто удивительно! И правосудие получить, и водки напиться – все можно!

– Только болтать лишнее нельзя! Идем на Фурштадтскую. Пошли по Фурштадтской; дошли до овсянниковского дома.

– Вот какой столб был! До неба рукой доставал – и вдруг рухнул! – воскликнул я в умилении, – я, впрочем, думаю, что провидение не без умысла от времени до времени такие зрелища допускает!

– Для чего провидение допускает такие зрелища – это, брат, не нашего ума дело; а вот что Овсянников подвергся каре закона – это верно. Это я в газетах читал и потому могу говорить свободно!

– Да, но отчего же и о путях провидения не припомнить при этом?

– Оттого, что пути эти нам неизвестны, – вот отчего. А что нам не известно – к тому мы должны относиться сдержанно. Шагай, братец.

В конце Фурштадтской – питейное заведение. Выходит оттуда мужчина в изорванном пальто, с изорванной физиономией и, пошатываясь, горланит:

Красавица! Подожди!

Белы руки подожди!

– Вот и он советует подождать! – говорю я.

– Да, потому что всем такая линия вышла!

– А бедный он!

– Кто? пьяница-то?

– Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтоб накипело у человека в груди...

Но Глумов и тут оборвал меня, запев:

– Красавица! Подожди!

Белы руки подожди!

– Не для того я напоминаю тебе об этом, – продолжал он, – чтоб ты именно в эту минуту молчал, а для того, что если ты теперь сдерживать себя не будешь, той в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна, воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что оттого вся эта неопрятность и происходит, что мы на каждом шагу послабления себе делаем. Прямо, на улице, пожалуй, не посмеем высказаться, а чуть

зашли за угол – и распустили язык. Понятно, что начальство за это претендует на нас. А ты так умей собой овладеть, что, ежели сказано тебе «погоди!», так ты годи везде, на всяком месте, да от всего сердца, да со всею готовностью – вот как! даже когда один с самим собой находишься – и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка!

Я должен был согласиться с Глумовым. Действительно, русский человек как-то туго поддается выдержке и почти совсем не может устроить, чтобы на всяком месте и во всякое время вести себя с одинаковым самообладанием. Есть у него в этом смысле два очень серьезных врага: воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох, а потому сию минуту он увядает, а в следующую – расцветает, сию минуту рассыпается в выражениях преданности и любви, а в следующую – клянет или загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются. Но, во всяком случае, он не умеет сдерживать свою мысль и речь в известных границах, но непременно впадает в расплывчивость и прибегает к околичностям. Прочтите любой судебный процесс, и вы без труда убедитесь в этом. Ни один свидетель на вопрос: где вы в таком-то часу были? – не ответит просто: был там-то, но непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, которых фамилии попадутся ему на язык, потом об себе отзовется, что он человек несчастный, и, наконец, уже на повторительный вопрос: где вы были? – решится ответить: был там-то, но непременно присовокупит: виделся вот с тем-то, да еще с тем-то, и стоваривались мы сделать то-то. Одним словом, самого ничтожного повода достаточно, чтоб насторожить воображение и чтобы последнее немедленно нарисовало целую картину.

Ввиду всех этих соображений, я решился сдерживать себя. Молча мы повернули вдоль линии Таврического сада, затем направо по набережной и остановились против Таврического дворца. Натурально, умилились. Тени Екатерины, Потемкина, Державина так живо пронеслись передо мною, что мне показалось, что я чувствую их дуновение.

– Вот где витает тень великолепного князя Тавриды! – воскликнул я.

– Да, брат, вот тут, в этом самом месте, он и жил! – отозвался Глумов.

– И что от него осталось? Чем разрешилось облако блеска, славы и власти, которое окружало его? – Несколькими десятками анекдотов в «Русской старине», из коих в одну главную роль играет севрюжина! Вон там был сожжен знаменитый фейерверк, вот тут с этой террасы глядела на празднество залитая в золото толпа царедворцев, а вдали неслыханные массы голосов и инструментов гремели «Коль славен» под гром пушек! Где все это?

Я расчувствовался, встал в позу и продекламировал;

– Где стол был яств – там гроб стоит,
Где пришеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики,
И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех...

Дальше не помню, но не правда ли, удивительно!

– Удивительно-то удивительно, только это из оды на смерть Мещерского, и к Потемкину, следовательно, не относится, – расхолодил меня Глумов.

– Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить приятно! Екатерина! Державин! Имена-то какие, мой друг! часто ли встретишь ты в истории такие сочетания!

– Орловы! Потемкин! Румянцев! Суворов! – словно эхо, вторил мне Глумов и, став в позицию, продекламировал;

Вихрь полуночный летит богатырь!
Тень от чела, с посвиста – пыль!

– А потом Дмитриев-Мамонов и наконец Зубов... И каждому-то умел старик Державин комплимент сказать!

Под наплывом этих отрадных чувств начали мы припоминать стихи Державина, но, к удивлению, ничего не припомнили, кроме:

Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет!¹

– Да, брат, был такой крестьянин! был! – воскликнул я, подавленный нарисованною Державиным картиной.

Как ни сдержан был Глумов, но на этот раз и он счел неуместным охлаждать мой восторг.

– Да, брат, был, – сказал он почти сочувственно.

– Было! все было! – продолжал я восклицать в восхищении, – и «добры щи» были! представь себе: «добры щи»!

– Представляю, но все-таки не могу не сказать: восхищаться ты можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований в смысле укора настоящему!

И с этим замечанием я должен был согласиться. Да, и восторги нужно соразмерять, то есть ни в каком случае не сосредоточивать их на одной какой-нибудь точке, но распределять на возможно большее количество точек. Нужды нет, что, вследствие этого распределения, восторг сделается более умеренным, но зато он все точки равно осветит и от каждой получит дань похвалы и поощрения. Поэты старого доброго времени очень тонко это понимали и потому, ни на ком исключительно не останавливаясь и никого не обижая, всем подносили посильные комплименты.

Мы повернули назад, прихватили Песков, и когда поравнялись с одним одноэтажным деревянным домиком, то я сказал:

– Вот в этом самом доме цензор Красовский родился!

– Врешь?

Я соврал действительно; но так как срок, в течение которого мне предстояло «годить», не был определен, то надо же было как-нибудь время проводить! Поэтому я не только не сознался, но и продолжал стоять на своем.

– Верно, что тут! – упорствовал я, – мне Тряпичкин сказывал. Он, брат, нынче фельетоны-то бросил, за исторические исследования принялся! Уваровскую премию надеется получить! Тут родился! тут!

Постояли, полюбовались, вспомнили, как у покойного всю жизнь живот болел, наконец, – махнули рукой и пошли по Лиговке. Долго ничего замечательного не было, но вдруг мои глаза ухитрились отыскать знакомый дом.

– Вот в этом самом доме собрания библиографов бывают, – сказал я.

– Когда?

– Собираются они по ночам и в величайшем секрете: боятся, чтоб полиция не накрыла.

– Их-то?

– Да, брат, и их! – Вообще человечество все...

– Ты бывал на этих собраниях?

¹ «Осень во время осады Очакова». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Был однажды. При мне «Черную шаль» Пушкина библиографической разработке подвергали. Они, брат, ее в двух томах с комментариями хотят издавать.

– Вот бы где «годить» – то хорошо! Туда бы забраться, да там все время и переждать!

– Да, хорошо бы. При мне в течение трех часов только два первые стиха обработали. Вот видишь, обыкновенно мы так читаем:

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

А у Оленина (1831 г. in 8-vo) последний стих так напечатан;

И гладкую душу дерзает печаль...

Вот они и остановились в недоумении. Три партии образовались.

– Ужинать-то, по крайней мере, дали ли?

– Нет, ужина не было, а под конец заседания хозяин сказал: я, господа, редкость приобрел! единственный экземпляр гоголевского портрета, на котором автор «Мертвых душ» изображен с бородавкой на носу!

– Ну, и что ж?

– Натурально, все всполошились. Принес, все бросились смотреть: действительно, сидит Гоголь, и на самом кончике носа у него бородавка. Начался спор: в какую эпоху жизни портрет снят? Положили: справиться, нет ли указаний в бумагах покойного академика Погодина. Потом стали к хозяину приставать: сколько за портрет заплатил? Тот говорит: угадайте! Потом, в виде литии, прочли «полный и достоверный список сочинений Григория Данилевского» – и разошлись.

– Вот, друг, этак-то бы дожить!

– Да, хорошо! однако, брат, и они... на замечании тоже! Как расходились мы, так я заметил: нет-нет да и стоит, на всякий случай, городской! И такие пошли тут у них свистки, что я, грешный человек, подумал: а что, ежели «Черная шаль» тут только предлог один!

Разговаривая таким образом, мы незаметно дошли до Невского, причем я не преминул обратиться всем корпусом к дебаркадеру Николаевской железной дороги и произнес:

– А вот это – результат пытливости девятнадцатого века! Затем, дойдя до Надеждинской улицы, я сказал:

– Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла от Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невского ее продолжили. И это тоже результат пытливости девятнадцатого века!

А дойдя до булочной Филиппова, я вспомнил, какие я давеча мысли по поводу филипповских калачей высказывал, и даже засмеялся: как можно было такую гражданскую незрелость выказать!

– А помнишь, какой мы давеча разговор по случаю филипповских калачей вели? – обратился я к Глумову.

– Не я вел, а ты.

– Ну, да, я. Но как все это было юно! незрело! Какое мне дело до того, кто муку производит, как производит и пр.! Я ем калачи – и больше ничего! мне кажется, теперь – хоть озолоти меня, я в другой раз этакой глупости не скажу!

– И прекрасно сделаешь. «Вот как каждый-то день верст по пятнадцати – двадцати обломаем, так дней через десять и совсем замолчим!

– Но когда мы дошли до площади Александрийского театра, то душевный наш уровень опять поднялся. Вновь вспомнили старика Державина:

Богopodobная царевна
Киргиз-кайсацкия орды,
Которой мудрость несравненна...

– А вот и сам он тут! – воскликнул я, указывая на пьедестал.

– А вот храм Талии и Мельпомены! – отозвался Глумов, указывая на Александрийский театр.

– А рядом с ним храм Момусу!

– А напротив – отель Бель-вю!

Нам было так радостно, что все это так хорошо сыутилось, что мы, дабы не отравлять счастливого душевного настроения, решились отворать наши взоры от бывшего помещения конторы Баймакова, так как это зрелище должно было несомненно ввергнуть нас в меланхолию.

Проходя мимо Публичной библиотеки, я собрался было остановиться и сказать несколько прочувствованных слов насчет ненеуместности наук, но Глумов так угрюмо взглянул на меня, что я невольно ускорил шаг и успел высказать только следующий краткий exordium:²

– Вот здесь хранятся сокровища человеческого ума!

Зато у милутиных лавок мы отдохнули и взорами и душою. Апельсины, мандарины, груши, виноград, яблоки. Представьте себе – земляника! На дворе февраль, у извозчиков уши на морозе побелели, а там, в этой провонялой лавчонке, – уж лето в самом разгаре! И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас оттуда, всякий раз как дверь магазина отворалась! И как меня вдруг потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую, сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всем пространстве которых, без всякого сомнения, ни одного непропеланного места невозможно найти! Прийти туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении „годить“!

– Да, и тут „годить“ хорошо! – молвил Глумов, как бы угадывая мою мысль.

Но план наш уж был составлен заранее. Мы обязывались провести время хотя бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно. Мы понимали, что всякая примесь легкомыслия должна произвести игривость ума и что только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременно намерение „годить“. Поэтому хотя и не без насилия над самими собой, но мы оторвали глаза от соблазнительного зрелища и направили стопы по направлению к адмиралтейству.

Мы шли молча, как бы подавленные бакалейными запахами, которыми, казалось, даже складки наших пальто внезапно пропахли. Не обратив внимания ни на памятники Барклаю де-Толли и Кутузову, ни на ресторан Доминика, в дверях которого толпились какие-то полинялые личности, ни на обе Морские, с веселыми приютами Бореля и Таити, мы достигли Адмиралтейской площади, и тут я вновь почувствовал необходимость сказать несколько прочувствованных слов.

– Еще недавно здесь, на масленице и на святой, устраивались балаганы, и в определенные дни вывозили институток в придворных каретах. Теперь все это происходит уже на Царицыном лугу. Здесь же, на площади, иждивением и заботливостью городской думы, устроен сквер. Глумов! видишь этот сквер?

– Вижу. А ты – видишь?

– И я вижу. Я об том хочу сказать, что с каждым годом этот сквер все больше и больше разрастается. Сначала, когда его только что насадили, деревья вот эдакие были, и притом мно-

² Вступление.

жество из них в первый же год погибло. Потом, по мере того, как заботливость городской думы развивалась, погибшие деревья заменялись новыми, а старые, сразу удавшиеся, пышнее и пышнее разрастались. В настоящее время не слишком тучный прохожий уже может свободно отдохнуть под их тенью, но, разумеется, не зимой. Глумов! правильно ли я говорю?

– Совершенно правильно.

– А теперь, исполнивши наш долг относительно Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости городской думы, идем к окончательной цели нашего путешествия, как оно проектировано на нынешний день!

Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился „Медный всадник“ Пушкина, и тут же кстати пришли на ум и слова профессора Морошкина о Петре:

„Но великий человек не приобщался нашим слабостям! Он не знал, что мы плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и слабы и худы, нам нужны были общие уставы человеческие!“³

Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их. Затем мы бросили прощальный взгляд на здание сената, в котором некогда говорил правду Яков Долгорукий, и так как программа гулянья на нынешний день была уже исчерпана и нас порядком-таки одолевала усталость, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной.

Было уже четыре часа, когда мы воротились домой, следовательно, до обеда оставался еще час. Глумов отправился распорядиться на кухню, а мне дал картуз табаку, пачку гильз и сказал:

– Займись!

Наконец подали обедать. Никогда не едал я так вкусно. Во-первых, никогда не приходилось делать подобного предобеденного моциона, а во-вторых, мы ели на свободе, без всяких политических соображений, „без тоски, без думы роковой“, памятуя твердо, что ничего другого, кроме еды, нам не предстоит. Поэтому каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно, и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. Подавали на закуску: провесную белорыбицу и превосходнейшую белужью салфеточную икру; за обедом удивительнейшие щи с говяжьей грудиной, потом осетрину паровую, потом жареных рябчиков, привезенных прямо из Сибири, и наконец – компот из французских фруктов. Само собой разумеется, что при каждой перемене кушанья возникал приличный обстоятельству разговор.

Давно, очень давно дедушка Крылов написал басню „Сочинитель и разбойник“, в которой доказал, что разбойнику следует отдать предпочтение перед сочинителем, и эта истина так прилась нам ко двору, что с давних времен никто и не сомневается в ее непререкаемости. Позднее тот же дедушка Крылов написал другую басню „Три мужика“, в которой образно доказал другую истину, что во время еды не следует вести иных разговоров, кроме тех, которые, так сказать, вытекают из самого процесса еды. Этою истиною мы долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, когда теория и практика в совершенстве выяснили, что человеческий язык есть не что иное, как орудие для выражения человеческого скверномыслия, мы должны были сознаться, что прозорливость дедушки Крылова никогда не обманывала его.

Мы солидно ели и вели солидный разговор об еде. И по мере того, как обед развивался, перед нами открывались такие поразительные перспективы, которых мы никогда и не подозревали. Я покупал говядину в какой-то лавочке «на углу»; Глумов – на Круглом рынке; я покупал рыбу в Чернышевском переулке, Глумов – на Мытном дворе; я приобретал дичь в первой попав-

³ Речь профессора Московского университета Морошкина: „Об уложении и его дальнейшем развитии“. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

шейся лавке, на дверях которой висел замороженный заяц, Глумов – в каком-то складе, близ Шлиссельбургской заставы. Бесхозяйственность моя обнаружилась во всем ужасающем безобразии, так что я тут же мысленно решил, что без радикальных реформ обойтись невозможно.

– Ты сообрази, мой друг, – говорил я, – ведь по этому расчету выходит, что я, по малой мере, каждый день полтину на ветер бросаю! А сколько этих полтин-то в год выйдет?

– Выйдет триста шестьдесят пять полтин, то есть ста восемьдесят два рубля пятьдесят копеек.

– Теперь пойдем дальше. Прошло с лишком тридцать лет с тех пор, как я вышел из школы, и все это время, с очень небольшими перерывами, я живу полным хозяйством. Если бы я все эти полтины собирал – сколько бы у меня теперь денег-то было?

– Тысячу восемьсот двадцать пять помножь на три – выйдет пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей.

– Это ежели без процентов считать. Но я мог эти сбережения... ну, положим, под ручные залого я бы не отдал... а все-таки я мог бы на эти сбережения покупать процентные булат, дисконтировать векселя и вообще совершать дозволенные законом финансовые операции... Расчет-то уж выйдет совсем другой.

– Да, брат, обмишулился ты!

– И заметь, что у тебя провизия превосходная, а у меня – только посредственная. Возьми, например, твоя ли осетрина или моя?

– Нет, вот я завтра окорочок велю запечь, да тепленький-тепленький на стол-то его подадим! Вот и увидим, что ты тогда запоешь!

– Ты где окорока покупаешь?

– Угадай!

– У Шписа? у Людекенса!

– В Мучном переулке!!!

– Скажите на милость!

Словом сказать, разочарование следовало за разочарованием, но, вместе с тем, являлась и надежда на исправление, а это-то, собственно, и было дорого. Ибо давно уже признано, что одни темные стороны никогда никого не удовлетворяют, если они не смягчаются светлыми сторонами, или, за недостатком их, «нас возвышающими обманами»! Так что, например, человек, которого обед состоит из одной тюри с водой, только тогда будет вполне удовлетворен, ежели при этом вообразит, что ест наварные щи и любит плавающим в них жирным куском говядины.

Этих мыслей я, впрочем, не высказывал, потому что Глумов непременно распек бы меня за них. Да я и сам, признаться, не придавал им особенного политического значения, так что был даже очень рад, когда Глумов прервал их течение, пригласив меня в кабинет, где нас ожидал удивительной красоты «шартрез».

Был седьмой час в половине, когда мы встали из-за стола. Мы сели друг против друга в мягкие кресла, закурили какие-то необычайные пес plus ultra⁴ и медленно, с толком дегустировали послеобеденные рюмки, наполненные золотистой жидкостью. Хорошо нам было. Я не скажу, чтоб это был сон, но казалось, что какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то с высоты и укачивала утомленное непривычным моционом тело. Сомкнув усталые вежды, мы молча предавались внутренним созерцаниям и изредка потихоньку вздрагивали. Наконец из груди Глумова вырвался стон, который сразу возвратил и его и меня к чувству действительности.

– А ведь я, брат, чуть-чуть не заснул, – удивился он и тут же громким голосом возопил: – зельтерской воды... и умыться!

⁴ Высшего качества.

Выпили по бутылочке зельтерской воды, потом умылись и сделались опять так же свежи и бодры, как будто, только сей час отстоявши раннюю обедню, собрались по-христиански провести день свой.

Было около половины девятого, когда мы сели вдвоем в сибирку с двумя болванами. Мы игроки почти равной силы, но Глумов не обращает внимания, а я – обращаю. Поэтому игры бывают преинтересные. Глумов горячится, не рассчитывает игры, а хочет сразу ее угадать – и попадает впросак; а я, разумеется, этим пользуюсь и записываю штраф.

В конце концов я почти всегда оказываюсь в выигрыше, но это нимало не сердит Глумова. Иногда мы даже оба от души хохочем, когда случается что-нибудь совсем уж необыкновенное: ренонс, например, или дама червей вдруг покажется за короля. Но никогда еще игра наша не была так весела, как в этот раз. Во-первых, Глумов вгорячах пролил на сукно стакан чаю; во-вторых, он, имея на руках три туза, получил маленький шлем! Давно мы так не хохотали.

В одиннадцать часов мы встали из-за карт и тем же порядком, как и накануне, улеглись спать.

– А что, брат, годить-то, пожалуй, совсем не так трудно, как это с первого взгляда казалось? – сказал мне на прощание Глумов.

Я возобновил в своей памяти проведенный день и нашел, что, по справедливости, ничего другого не остается, как согласиться с Глумовым.

Действительно, все мысли и чувства во мне до того утомонились, так сказать, дисциплинировались, что в эту ночь я даже не ворочался на постели. Как лег, так сейчас же почувствовал, что голова моя налилась свинцом и помертвела. Какая разница с тем, что происходило в эти же самые часы вчера!

На другой день я проснулся в восемь часов утра, и первую моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за совершившееся во мне обновление...

II

Глумов сказал правду: нужно только в первое время на себя поналечь, а остальное придет само собою. Исключительно преданные телесным упражнениям, мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас; мы не следили ни за открытиями, ни за изобретениями, не заглядывали в книги, не ходили в заседания педагогического общества, не сочувствовали ни славянам, ни туркам и совсем позабыли о существовании Мак-Магона. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным...

По-прежнему колесили мы по Петербургу, но, проходя мимо памятников, которые некогда заставляли биться наши сердца, уже не чувствовали ничего такого, что заставляло бы нас лезть на стену. Мы прежде всего направляли стопы на Круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей; оттуда шагали на Мытный двор и почти с гневом восклицали: да когда же наконец белорыбицу привезут? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных, во-первых, за то, что мы, не торгуясь, выбирали лучшие куски, а во-вторых (и преимущественно), за то, что мы обо всем, касающемся съестного, во всякое время могли высказать «правильное суждение». Это «правильное суждение» приводило в восхищение и хозяев и приказчиков.

– Не то дорого, что вы покупатели, лучше каких желать не надо, а любовь, да совет, да умное ваше слово – вот что всяких денег дороже! – говорили нам везде.

В согласность с этою жизненною практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, не могли произнести сряду несколько слов, чтобы не впасть в одышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собираясь сосать собственный язык. Так что я нимало не был удивлен, когда однажды на улице неизвестный прохожий, завидевши нас, сказал: вот идут две идеально-благонамеренные скотины!

Даже Алексей Степаныч (Молчалин) и тот нашел, что мы все ожидания превзошли.

Зашел он ко мне однажды вечером, а мы сидим и с сыщиком из соседнего квартала в табельку играем. Глаза у нас до того заплыли жиром, что мы и не замечаем, как сыщик к нам в карты заглядывает. То есть, пожалуй, и замечаем, но в рожу его треснуть – лень, а увещевать – напрасный труд: все равно и на будущее время подглядывать будет.

– Однако спесивы-таки вы, господа! и не заглянете к старику! – начал было Алексей Степаныч и вдруг остановился.

Глядит и глазам не верит. В комнате накурено, нагажено; в сторонке, на столе, закуска и водка стоит; на нас человеческого образа нет: с трудом с мест поднялись, смотрим в упор и губами жуем. И в довершение всего – мужчина необыкновенный какой-то сидит: в подержанном фраке, с светлыми пуговицами, в отрепанных клетчатых штанах, в коленкоровой манишке, которая горбом выбилась из-под жилета. Глаза у него наперекоски бегают, в усах объедки балыка застряли, и капли водки, словно роса, блестят...

Сел, однако ж, Алексей Степаныч, посидел. Заметил, как сыщик во время сдачи поднес карты к губам, почесал ими в усах и моментально передернул туза червей.

– А ты, молодец, когда карты сдаешь, к усам-то их не подноси! – без церемоний остановил его старик Молчалин и, обратившись к нам, прибавил: – Ах, господа, господа!

– Он... иногда... всегда... – вымолвил в свое оправдание Глумов и чуть не задохся от усилия.

– То-то «иногда-всегда»! за эти дела за шиворот, да в шею! При мне с Загорецким такой случай был – помню!

Когда же, по ходу переговоров, действительно, оказалось, что у сыщика на руках десять без козырей, то Алексей Степаныч окончательно возмущился и потребовал пересдачи, на что сыщик, впрочем, очень любезно согласился, сказав:

– Чтобы для вас удовольствие сделать, я же готов хотя пятнадцать раз зряду сдавать – и все то самое буде!

И точно: когда он сдал карты вновь, то у него оказалась игра до того уж особенная, что он сам не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть в восторге:

– От-то игра!

Далее Алексей Степаныч уж не протестовал, а только повздыхал еще с полчаса и удалился, сказав:

– Ах, братцы, братцы! какие вы образованные были!

С тех пор мы совсем утратили из вида семейство Молчалиных и, взамен того, с каждым днем все больше и больше прилеплялись к сыщику, который льстил нам, уверяя, что в настоящее время, в видах политического равновесия, именно только такие люди и требуются, которые умели бы глазами хлопать и губами жевать.

– Именно ж одно это и нужно! – говорил он, – потому, звише так уже сделано есть, что ежели человек необразован – он работать обязан, а ежели человек образован – он имеет гулять и кушать! Иначе ж руволюция буде!

Вообще этот человек был для нас большим ресурсом. Он был не только единственным звеном, связывавшим нас с миром живых, но к порукой, что мы можем без страха глядеть в глаза будущему, до тех пор, покуда наша жизнь будет протекать у него на глазах.

– Поберегай, братец, нас! поберегай! – по временам напоминал ему Глумов.

– А як же! даже ж сегодня вопрос был: скоро ли руволюция на Литейной имеет быть? Да нет же, говорю, мы же всякий вечер з ними в табельку играем!

Так обнадеживал он нас и, в доказательство своей искренности, пускался в откровенности, то есть сквернословил насчет начальства и сознавался, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей.

– Это ж весьма натурально! – пояснял он, – бо всякий человек защищать себя имеет – от-то и гарцуе як може!

Всего замечательнее, что мы не только не знали имени и фамилии его, но и никакой надобности не видели узнавать. Глумов совершенно случайно прозвал его Кшепшицюльским, и, к удивлению, он сразу начал откликаться на этот зов. Даже познакомились мы с ним как-то необычно. Шел я однажды по двору нашего дома и услышал, как он спрашивает у дворника: «скоро ли в 4-м нумере (это – моя квартира) руволюция буде». Сейчас же взял его я за шиворот и привел к себе:

– На, смотри!

С тех пор он и остался у нас, только спать уходил в квартал да по утрам играл на бильярде в ресторане Доминика, говоря, что это необходимо в видах внутренней политики.

Лгунице он был баснословный, хотя не забавный. Но так как мы находились уже в том градусе благонамеренности, когда настоящая умственная пища делается противною, то лганье представляло для нас как бы замену ее. В особенности запутанно выходила у него родословная. Нынче он выдавал себя за сына вельможного польского пана, у которого «в том месте», были несметные маетности; завтра оказывался незаконным сыном легкомысленной польской графини и дипломата, который будто бы написал сочинение «La verite sur la Russie, par un diplomate» («От-то он самый и есть!» – прибавлял Кшепшицюльский). Когда же Глумов, с свойственною ему откровенностью, возражал: «а я так просто думаю, что ты с... с...», то он и этого не отрицал, а только с большею против прежнего торопливостью переносил лганье на другие предметы. Хвастался, что служит в квартале только временно, покуда в сенате решается процесс его по имению; что хотя его и называют сыщиком, но, собственно говоря, должность его дипломатическая, и потому следовало бы называть его «дипломатом такого-то квартала»; уверял, что в 1863 году бегал «до лясу», но что, впрочем, всегда был на стороне правого дела, и

что даже предки его постоянно держали на сеймах руку России («як же иначе може то быть!»). Иногда он задумывался и предлагал вопрос:

- А як вы, господа, думаете: бог е?
- Тебе-то, скотина, какое дело?
- Все же ж! Я, например, полагаю, что зовсем яго ниц.

Но даже подобные выходки как-то уж не поражали нас. Конечно, инстинкт все еще подсказывал, что за такие речи следовало бы по-настоящему его поколотить (благо за это я ответственности не полагается), но внутреннего жара уж не было. Того «внутреннего жара», который заставляет человека простираť длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений.

Повторяю: мы совсем упустили из вида, что, по первоначальному плану, состояние «благонамеренности» было предположено для нас только временно, покуда предстояла надобность «годить». Мы уже не «годили», а просто-напросто «превратились». До такой степени «превратились», что думали только о том, на каком мы счету состоим в квартале. И когда однажды наш друг-сыщик объявил, что не дальше как в тот же день утром некто Иван Тимофеич (очевидно, влиятельное в квартале лицо) выразился об нас: я каждый день бога молю, чтоб и все прочие обыватели у меня такие же благонамеренные были! и что весьма легко может случиться, что мы будем приглашены в квартал на чашку чая, – то мы целый день выступали такою гордою поступью, как будто нам на смотр по целковому на водку дали.

И, действительно, очень скоро после этого мы имели случай на практике убедиться, что Кшепищицпольский не обманул нас. Шли мы однажды по улице, и вдруг навстречу сам Иван Тимофеич идет. – Мы было, по врожденному инстинкту, хотели на другую сторону перебежать, но его благородие поманил нас пальцем, благосклонно приглашая не робеть.

– Вечерком... на чашку чая... прошу... в квартал! – сказал он, подавая нам по очереди те самые два пальца, которыми только что перед тем инспектировал в ближайшей помойной яме.

И, сказав это, изволил благополучно проследовать к следующей помойной яме.

Возвратясь домой, мы долго и тревожно беседовали об этой чашке чая. С одной стороны, приглашение делало нам честь, как выражение лестного к нам доверия; с другой стороны – оно налагало на нас и обязанности. Множество вопросов предстояло разрешить. В каком костюме идти: во фраке, в сюртуке или в халате? Что заставят нас делать: плясать русскую, петь «Вниз по матушке по Волге», вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния, или же просто поставят штоф водки и скажут: пейте, благонамеренные люди! Разумеется, наш сыщик оказался в этом случае драгоценной для нас находкою.

– Вудка буде непременно, – сказал он нам, – може и не така гарна, как в тым месте, где моя родина есть, но все же буде. Петь вас, може, и не заставят, но мысли, навверное, испытывать будут и для того философический разговор заведут. А после, може, и танцевать прикажут, бо у Ивана Тимофеича дочка есть... от-то слична девица!

Наконец настал вечер, и мы отправились. Я помню, на мне были белые перчатки, но почему-то мне показалось, что на рауте в квартале нельзя быть иначе, как в перчатках мытых и непременно с дырой: я так и сделал. С своей стороны, Глумов хотя тоже решил быть во фраке, но своего фрака не надел, а поехал в частный ломбард и там, по знакомству, выпросил один из заложенных фраков, самый старенький.

– По этикету-то ихнему следовало бы в ворованном фраке ехать, – сказал он мне, – но так как мы с тобой до воровства еще не дошли (это предполагалось впоследствии, как окончательный шаг для увенчания здания), то на первый раз не взыщут, что и в ломбардной одеже пришли!

Иван Тимофеич принял нас совершенно по-дружески и, прежде всего, был польщен тем, что мы, приветствуя его, назвали вашим благородием. Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила поли-

цейская молодежь (впоследствии я узнал, что это были местные «червонные валеты», выпущенные из чижовки на случай танцев).

– Папаша вами очень доволен! – бойко приветствовала нас дочь хозяина и, обращаясь ко мне, прибавила: – Смотрите! я с вами первую кадрили хочу танцевать!

– Ежели, впрочем, не воспрепятствует пожар! – любезно оговорился хозяин.

По выполнении церемонии представления мы удалились в кабинет, где нам немедленно вручили по стакану чая, наполовину разбавленного кизляркой (в человеке, разносившем подносы с чаем, мы с удовольствием узнали Кшепшищольского). Гостей было достаточно. Почетные: письмоводитель Прудентов и брантмейстер Молодкин – сидели на диване, а младшие – на стульях. В числе младших гостей находился и старший городской Дергунов с тесаком через плечо.

Оказалось, что Кшепшищольский и тут не обманул нас. Едва мы успели усесться, как Прудентов и Молодкин (конечно, по поручению Ивана Тимофеича), в видах испытания нашего образа мыслей, завели философический разговор. Начали с вопроса о бессмертии души и очень ловко дали беседе такую форму, как будто она возымела начало еще до нашего прихода, а мы только случайно сделались ее участниками. Прудентов утверждал, что подлинно душа человеческая бессмертна, Молодкин же ему оппонировал, но, очевидно, только для формы, потому что доказательства представлял самые легкомысленные.

– Никакой я души не видал, – говорил он, – а чего не видал, того не знаю!

– А я хоть и не видал, но знаю, – упорствовал Прудентов, – не в том штука, чтобы видючи знать – это всякий может, – а в том, чтобы и невидимое за видимое твердо содержать! Вы, господа, каких об этом предмете мнений придерживаетесь? – очень ловко обратился он к нам.

Момент был критический, и, признаюсь, я сробел. Я столько времени вращался исключительно в сфере съестных припасов, что самое понятие о душе сделалось совершенно для меня чуждым. Я начал мысленно перебирать: душа... бессмертие... что, бишь, такое было? – но, увы! ничего припомнить не мог, кроме одного: да, было что-то... где-то там... К счастью, Глумов кой-что еще помнил и потому поспешил ко мне на выручку.

– Для того, чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, – сказал он, – необходимо прежде всего обратиться к источникам. А именно: ежели имеется в виду статья закона или хотя начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертною, то, всеконечно, сообразно с сим надлежит и поступать; но ежели ни в законах, ни в предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений.

Ответ был дипломатический. Ничего не разрешая по существу, Глумов очень хитро устранял расставленную ловушку и самих поимщиков ставил в конфузное положение. – Обратитесь к источникам! – говорил он им, – и буде найдете в них указания, то требуйте точного по оным выполнения! В противном же случае остерегитесь сами и не вдавайтесь в разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными!

Как бы то ни было, но находчивость Глумова всех привела в восхищение. Сами поимщики добродушно ей аплодировали, а Иван Тимофеич был до того доволен, что благосклонно потрепал Глумова по плечу и сказал:

– Ловко, брат!

– Ну-с, прекрасцо-с! – продолжал дальше испытывать Прудентов, – а теперь я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету: какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезною и с обстоятельствами настоящего времени сходственною?

– То есть классическую или реальную? – пояснил от себя Молодкин.

Я опять оторопел, но Глумов нашелся и тут.

– Откровенно признаюсь вам, господа, – сказал он, – что я даже не понимаю вашего вопроса. Никаких я двух систем образования не знаю, & знаю только одну. И эта одна система может быть выражена в следующих немногих словах: не обременяя юношей излишними знаниями, всемерно внушать им, что назначение обывателей в том состоит, чтобы беспрекословно и со всею готовностью выполнять начальственные предписания! Ежели предписания сии будут классические, то и исполнение должно быть классическое, а если предписания будут реальные, то и исполнение должно быть реальное. Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных – я не признаю!

– Bravo! bravo! – посыпались со всех сторон поздравления. Квартальный хлопал в ладоши. Прудентов жал нам руки, а городской пришел в такой восторг, что подбежал к Глумову и просил быть восприемником его новорожденного сына.

Таким образом, благодаря находчивости Глумова, мы вышли из испытания победителями и посрамили самих поимщиков. Сейчас же поставили на стол штоф водки, и хозяин провозгласил наше здоровье, сказав:

– Теперича, если бы сам господин частный пристав спросил у меня: Иван Тимофеев! какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых, в случае чего, положиться было бы можно? – я бы его высокородию, как перед богом на Страшном суде, ответил: вот они!

После того мы вновь перешли в гостиную, и раут пошел обычным чередом, как и в прочих кварталах. Червонным валетам дали по крымскому яблоку и посулили по куску колбасы, если по окончании раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы. Затем, по просьбе дам, брантмейстер сел за фортепьяно и пропел «Коль славен», а в заключение, предварительно раскачавшись всем корпусом, перешел в *allegro* и не своим голосом гаркнул:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Разделяет Русь на карте
Указательным перстом!

– Прекрасный романс! – сказал Глумов, – века пройдут, а он не устареет!

– Хорош-то хорош, а по-моему, наше простое, русское ура – куда лучше! – отозвался хозяин, – уж так я эту музыку люблю, так люблю, что слаще ее, кажется, и на свете-то нет!

Наконец составились и танцы. Один из червонных валетов сел за фортепьяно и прелюдовал кадрили. Но в ту самую минуту, как я становился в пару с хозяйскою дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин сказал:

– Господа! милости просим на пожар! И затем, обратившись к старшему городскому Дергунову, присовокупил:

– А господ червонных валетов честь честью свести в чижовку и запереть на замок!

* * *

Вообще эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим; кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое число крестин, так как жены городских поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом, но принимали участие в веселостях всех частей и кварталов. В особенности хорошо удался бал в 3-й Адмиралтейской части, потому что вся Сенная участвовала в нем своими произведениями. Хотя же по временам нашему веселью и мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало – танцуем!

Эта рассеянная жизнь имела для нас с Глумовым ту выгоду, что мы значительно ободрились и побойчели. Покуда мы исключительно предавались удовольствиям, доставляемым истреблением съестных припасов, это производило в нас отяжеление и, в то же время, сообщало физиономиям нашим унылый и слегка осовелый вид, который мог подать повод к невыгодным для нас толкованиям. А это положительно нам вредило и даже в значительной мере парализовало наши усилия в смысле благонамеренности.

В то время унылый вид играл в человеческой жизни очень важную роль: он означал недовольство существующими порядками и наклонность к потрясению основ. Правда, что прокуроров тогда еще не было, а следовательно, и потрясений не так много было в ходу, но все-таки при частях уже существовали следственные пристава, которые тоже не без любознательности засматривались на людей, обладающих унылыми физиономиями. Поэтому телесное отяжеление, равно как и изжога, ежели не всегда служили достаточным поводом для диагностических постукиваний, то, во всяком случае, представляли очень достаточные данные для возбуждения сомнений и запросов весьма щекотливого свойства.

Этих сомнений и запросов я в течение всей моей жизни тщательно избегал. Я всегда предпочитал им открытые исследования, не потому, чтобы перспектива быть предметом начальственно-диагностических постукиваний особенно улыбалась мне, но потому, что я — враг всякой неизвестности и, вопреки известной пословице, нахожу, что добрая ссора все-таки предпочтительнее, нежели худой мир. Даже тогда, когда действительно на совести моей тяготеет преступление, когда порочная моя воля сама, так сказать, вопиет о воздействии, даже и тогда меня не столько страшит кара закона, сколько вид напряживающегося при моем приближении прокурора. Хочется сказать ему: не суда боюсь, но взора твоего неласкового! не молнии правосудия приводят меня в отчаяние, а то, что ты не достаиваешь меня своею откровенностью! Громи меня! призывай на мою голову мщение небес, но скажи, чем я тебя огорчил! Разреши тенета суспиции, которыми ты опутал мое существование! разъясни мне самому, какую статью уложения о наказаниях определяется мое официальное положение в той бесконечно развивающейся уголовной драме, которая, по манию твоему, обнимает все отрасли человеческой индустрии, от воровства-кражи до потрясения основ с прекращением платежей по текущему счету и утайкою вверенных на хранение бумаг!

Но ежели я таким образом думаю, когда чувствую себя действительно виноватым, то понятно, как должна была претить мне всякая запутанность теперь, когда я сознавал себя вполне чистым и перед богом, и перед людьми. К счастью, новые знакомства очень скоро вывели меня из той угрюмой сферы жранья, в которую я было совсем погрузился. Я понял, что истинная благонамеренность не в том одном состоит, чтобы в уединении упитывать свои тела до желанного веса, но в том, чтобы подавать пример другим. Горизонт мой незаметно расширился, я воспрянул духом, спал с тела и не только не дичился общества, но искал его. Унылый вид, который придавал мне характер заговорщика, исчез совершенно. Вместе с Глумовым я проводил целые утра в делании визитов (иногда из Казанской части приходилось, по обстоятельствам, ехать на Охту), вел фривольные разговоры с письмоводителями, городскими и подчасками о таких предметах, о которых даже мыслить прежде решался, лишь предварительно удостоверившись, что никто не подслушивает у дверей, ухаживал за полицейскими дамами, и только скромность запрещает мне признаться, скольких из них довел я до грехопадения. Словом сказать, из области благонамеренности выжидающей я перешел в область благонамеренности воинствующей и внушил наконец такое к себе доверие, что мог сквернословить и кошунствовать вполне свободно, в твердой уверенности, что самый бдительный полицейский надзор ничего в этом не увидит, кроме свойственной благовоспитанному человеку фривольности.

Бессловесность, еще так недавно нас угнетавшая, разрешилась самым удовлетворительным образом. Мы оба сделались до крайности словоохотливы, но разговоры наши были чисто элементарные и имели тот особенный пошиб, который напоминает атмосферу дома терпи-

мости. Содержание их главнейшим образом составляли: во-первых, фривольности по части начальства и конституций и, во-вторых, женщины, но при этом не столько сами женщины, сколько их округлости и особые приметы.

Мы делали все, что делают молодые светские шалопаи, чувствующие себя в охоте: нанимали тройки, покупали конфеты и букеты, лгали, хвастались, катались на лихачах и декламировали эротические стихи. И все от нас были в восхищении, все говорили: да, теперь уж совсем ясно, что это – люди благонамеренные не токмо за страх, но и за совесть!

Наконец в одно прекрасное утро мы были удовлетворены, так сказать, по горло: сам Иван Тимофеич посетил нас в моей квартире.

Признаюсь, долгонько-таки заставил ждать почтенный сановник этого визита. Целых два месяца прошло после первого раута в квартале, а он, по-видимому, даже забыл и думать, что существуют на свете известные законы приличия. Все уж по нескольку раз перебивали у нас: и письмоводители частных приставов, и брантмейстеры, и помощники квартальных и старшие городовые; все пили водку, восхищались икрой и балыком, спрашивали, нет ли Поль де Кокца в переводе почитать и проч. – один Иван Тимофеич с какой-то необъяснимою загадочностью воздерживался от окончательного сближения. Не раз видали мы из окна, как он распоряжался во дворе дома насчет уборки нечистот, и даже нарочно производили шум, чтобы обратить на себя его внимание, но он ограничивался тем, что делал нам ручкой, и вновь погружался в созерцание нечистот. Это отчасти обижало нас, а отчасти заставляло пускаться в догадки: неужели наше прошлое до того уж отягчено преступлениями, что даже волны теперешней благонамеренности не могут обмыть его?

– А порядочно-таки накуролесили мы в жизни своей! – объяснял я Глумову мои сомнения.

– Да, брат, эти дела не так-то скоро забываются! – соглашался он со мной.

И вот стали мы разбирать свое прошлое – и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего только там не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и признательность сердца по случаю введения земских учреждений, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры, с оставлением ее лишь для тех, кто, по человеческой немощи, не может бесцензурности вместить. Одним словом, все опасности, все неблагонадежности и неблагонамеренности, все угрозы, все, что подрывает, потрясает, разрушает, – все тут было! И ничего такого, что созидает, укрепляет и утверждает, наполняя трепетною радостью сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей!

– Да ведь этак мы, хоть тресни, не обелимся! – в отчаянии восклицал я.

– Похоже на то! – как эхо, вторил мне Глумов.

– Послушай! кто же, однако ж, мог это знать! ведь в то время казалось, что это и есть то самое, что созидает, укрепляет и утверждает! И вдруг – какой, с божьею помощью, переворот!

– Мало ли что казалось! надо было в даль смотреть!

– Но ведь тогда даже чины за это давали!

– И все-таки. И чины получать, и даже о сочувствии заявлять – все можно, да с оговорочкой, любезный друг, с оговорочкой! Умные-то люди как поступают? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сем присовокупляем, что ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого, не отказываемся! Вот как настоящие умные люди изъясняются, те, которые и за сочувствие, и за несочувствие – всегда получать чины готовы!

И вот, в ту самую минуту, когда Глумов договаривал эти безнадежные слова, в передней как-то особенно звоннул звонок. Объятые сладким предчувствием, мы бросились к двери... О, радость! Иван Тимофеич сам своей персоной стоял перед нами!

– Иван Тимофеич... ваше благородие... вы?!

– Самолично. А что? заждались?... ха-ха!

– Да, начинали уж, знаете... сомнения разные...

– Задумались... ха-ха! Ну, ничего! Я ведь, друзья, тоже не сразу... выглядываю наперед! Иногда хоть и замечаю, что человек исправляется, а коли в нем еще мало-мальски есть – ну, я и тово... попридержусь! Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли по времени уверюсь, что в человеке уж совсем ничего не осталось, – ну, и я навстречу иду. Будьте здоровы, друзья!

Он произнес последние слова с горячностью, очень редкою в лице, обязанном наблюдать за своевременною сколкой на улицах льда, и затем, пожав нам обоим руки, вошел в квартиру.

– Хорошенькая у вас квартирка... очень, очень даже удобенькая! – похвалил он, – вместе, что ли, живете?

– Нет, я в Рождественской части... – пробормотал Глумов таким голосом, как будто все сердце у него изболело оттого, что он лишен счастья жить под руководством Ивана Тимофеича.

– Ну, бог милостив! и вы со временем ко мне переедете! – обнадежил его Иван Тимофеич и, обратившись ко мне, весело прибавил: – А что, государь мой, водка-то у вас водится?

– Иван Тимофеич! вина? Есть лафит, есть херес... Господи!

– Нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью – больше ничего! Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался... Ну, да думал: пускай исправляются – над нами не каплет! Чистенько у вас тут, хорошо!

Он сел на диван и светлым взором оглядел комнату. Но вдруг лицо его омрачилось: где-то в дальнем углу он приметил книгу...

– Это «Всеобщий календарь»! – поспешил я разуверить его и тотчас же побежал, чтобы принести поличное.

– А... да? а я, признаться, книгу было заподозрел.

– Нет, Иван Тимофеич, мы уж давно... Давно уж у нас насчет этого...

– И прекрасно делаете. Книги – что в них! Был бы человек здоров да жил бы в свое удовольствие – чего лучше! Безграмотные-то и никогда книг не читают, а разве не живут?

– Да еще как живут-то! – подтвердил Глумов. – А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают!

– Ну, не все! Бывают и из простых, которые с умом читают! – благосклонно допустил Иван Тимофеич.

– И все-таки попадают. Ежели не в качестве обвиняемых, так в качестве свидетелей. Помилуйте! разве сладко свидетелем-то быть?

– Какая сладость! Первое дело, за сто верст киселя есть, а второе, как еще свидетельствовать будешь! Иной раз так об себе засвидетельствуешь, что и домой потом не попадешь... ахти-хти! грехи наши, грехи!

Иван Тимофеич вздохнул, опрокинул в рот рюмку водки и сказал:

– Ну, будьте здоровы, друзья! Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял!

Мы в умилении стояли против него и ждали, что будет дальше.

– Хочется мне с вами по душе поговорить, давно хочется! – продолжал он. – Ну-тко, скажите мне – вы люди умные] Завелась нынче эта пакость везде... всем мало, всем хочется... Ну, чего? скажите на милость: чего?

Я было приложил уж руку к сердцу, чтоб отвечать, что всего довольно и ни в чем никакой надобности не ощущается: вот только посквернословить разве... Но, к счастью, Иван Тимофеич сделал знак рукой, что моя речь впереди, а покамест он желает говорить один.

– Право, иной раз думаешь-думаешь: ну, чего? И то переберешь, и другое припомнишь – все у нас есть! Ну, вы – умные люди! сами теперь по себе знаете! Жили вы прежде... что говорить, нехорошо жили! буйно! Одно слово – мерзко жили! Ну, и вам, разумеется, не потакали, потому что кто же за нехорошую жизнь похвалит! А теперь вот исправились, живете смирно, мило, благородно, – спрошу вас, потревожил ли вас кто-нибудь? А? что? так ли я говорю?

– Как перед богом, так и...

– Хорошо. А начальство между тем беспокоится. Туда-сюда – везде мерзость. Даже тайные советники – и те нынче под сумнением состоят! Ни днем, ни ночью минуты покоя нет никогда! Сравните теперича, как прежде квартальный жил и как он нынче живет! Прежде только одна у нас и была болячка – пожары! да и те как-нибудь... А нынче!

– Да, трудно-таки вам!

– Мне-то? Вы мне скажите: знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? ну? Так вот эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит!

– Тсс...

– На нас да на городских. А на днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в третьем часу ночи один человек (и прежде он у меня на замечании был) – «вяжите, говорит, меня, я образ правления переменить хочу!» Ну, натурально, сейчас ему, рабу божьему, руки к лопаткам, черкнули куда следует: так, мол, и так, злоумышленник проявился... Только съезжается на другой день целая комиссия, призвали его, спрашивают: как? почему? кто сообщники? – а он – как бы вы думали, что он, шельма, ответил? – «Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление... Рыбинско-Бологовской железной дороги!»

– Однако ж! насмешка какая!

– Да-с, Захотел посмеяться и посмеялся. В три часа ночи меня для него разбудили; да часа с два после этого я во все места отношения да рапорты писал. А после того, только что было сон заводить начал, опять разбудили: в доме терпимости демонстрация случилась! А потом извозчик нос себе отморозил – оттирали, а потом, смотрю, пора и с рапортом! Так вся ночка и прошла.

– И это прошло ему... безнаказанно?

– А что с ним сделаешь? Дал ему две плюхи, да после сам же на мировую должен был на полштоф подарить!

– Тсс...

– Так вот вы и судите! Ну да положим, это человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он доход казне приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стену лезут? ну чего надо? а?

– Тоже, должно быть, в роде опьянения что-нибудь.

– Опьянение опьянением, а есть и другое кой-что. Зависть. Видит он, что другие тихо да благородно живут, – вот его и берут завидки! Сам он благородно не может жить – ну, и смущает всех! А с нас, между прочим, спрашивают! Почему да как, да отчего своевременно распоряжения не было сделано? Вот хоть бы с вами – вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?

– Иван Тимофеич! неужто же мы могли...

– И даже очень могли. Теперь, разумеется, дело прошлое – вижу я! даже очень хорошо вижу ваше твердое намерение! – а было-таки времечко, было! Ах, да и хитрые же вы, господа! право, хитрые!

Иван Тимофеич улыбнулся и погрозил нам пальцем.

– Наняли квартиру, сидят по углам, ни сами в гости не ходят, ни к себе не принимают – и думают, что так-таки никто их и не отгадает! Ах-ах-ах!

И он так мило покачал головой, что нам самим сделалось весело, какие мы, в самом деле, хитрые! В гости не ходим, к себе никого не принимаем, а между тем... поди-ка, попробуй завестись с такими головорезами.

– А я все-таки вас перехитрил! – похвалился Иван Тимофеич, – и не то что каждый ваш шаг, а каждое слово, каждую мысль – все знал! И знаете ли вы, что если б еще немножко... еще бы вот чуточку... Шабаш!

Хотя Иван Тимофеич говорил в прошедшем времени, но сердце во мне так и упало. Вот оно, то ужасное квартальное всеведение, которое всю жизнь парализовало все мои действия! А я-то, ничего не подозревая, жил да поживал, сам в гости не ходил, к себе гостей не принимал – а чему подвергался! Немножко, чуточку – и шабаш! Представление об этой опасности до того взбудоражило меня, что даже сон наяву привиделся: идут, берут... пожалуйте!

– Да неужели мы... – воскликнул я с тоской.

– Было, было – нечего старого ворошить! И оправдываться не стоит.

– Да; но надеемся, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание и хотя до некоторой степени послужат искуплением тех заблуждений, в которые мы могли быть вовлечены отчасти по неразумию, а отчасти и вследствие дурных примеров? – вступился, с своей стороны, Глумов.

– Теперь – о прошлом и речи нет! все забыто! Пардон – общий (говоря это, Иван Тимофеич даже руки простер наподобие того как дельвал когда-то в «Ernani» Грациани, произнося знаменитое «perdono tutti!»⁵)! Теперь вы все равно что вновь родились – вот какой на вас теперь взгляд! А впрочем, заболтался я с вами, друзья! Прощайте, и будьте без сомнения! Коли я сказал: пардон! значит, можете смело надеяться!

– Иван Тимофеич! куда же так скоро? а винца?

– Винца – это после, на свободе когда-нибудь! Вот от водки и сию минуту – не откажусь!

Он опять опрокинул в рот рюмку водки и пососал язык.

– Надо бы мне, впрочем, обстоятельно об одном деле с вами поговорить, – сказал он после минутного колебания, – интересное дельце, а для меня так и очень даже важное... да нет, лучше уж в другой раз!

– Да зачем же? Сделайте милость! прикажите!

– Вот видите ли, есть у меня тут...

Иван Тимофеич потоптался на месте, словно бы его что подмывало, и вдруг совершенно неожиданно покраснел.

– Нет, нет, нет, – заторопился он, – лучше уж в другой раз! А вы, друзья, между тем подумайте! чувства свои испытайте! решимость проверьте! Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, – ну, тогда...

Последние слова Иван Тимофеич сказал уже в передней, и мы не успели опомниться, как он сделал нам ручкой и скрылся за дверью.

Мы в недоумении смотрели друг на друга. Что такое еще ожидает нас? какое еще новое «удовольствие» от нас потребуется? Не дальше как минуту назад мы были веселы и беспечны – и вдруг какая-то новая загадка спустилась на наше существование и угрожала ему катастрофой...

⁵ прощаю всех!

III

– А ведь он, брат, нас в полицейские дипломаты прочит! – первый опомнился Глумов.

Признаюсь, и в моей голове блеснула та же мысль. Но мне так горько было думать, что потребуется «сие новое доказательство нашей благонадежности», что я с удовольствием остановился на другом предположении, которое тоже имело за себя шансы вероятности.

– А я так думаю, что он просто, как чадолюбивый отец, хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери, – сказал я.

– Гм... да... А ты этому будешь рад?

– Не скажу, чтобы особенно рад, но надо же и остепениться когда-нибудь. А ежели смотреть на брак с точки зрения самосохранения, то ведь, пожалуй, лучшей партии и желать не надо. Подумай! ведь все родство тут же, в своем квартале будет. Молодкин – кузен, Прудентов – дяденька, даже Дергунов, старший городской, и тот внучатым братом доведется!

– Ну, так уж ты и прочь себя в женихи.

– А ты небось брезгаешь? Эх, Глумов, Глумов! много, брат, невест в полиции и помимо этой! Вот у подчаска тоже дочь подрастает: теперь-то ты отворачиваешься, да как бы после не довелось подчаска папенькой величать!

Но Глумов сохранил мрачное молчание на это предположение. Очевидно, идея о родстве с подчаском не особенно улыбалась ему.

– Ну, а ежели он места сыщиков предлагать будет? – возвратился он к своей первоначальной идее.

– Но почему же ты это думаешь?

– Я не думаю, а, во-первых, предусматривать никогда не лишнее, и, во-вторых, Кшепшицкий на днях жаловался: непрочен, говорит, я!

– Воля твоя, а я в таком случае притворюсь больным! – сказал я довольно решительно.

– И это – не резон, потому что век больным быть нельзя. Не поверят, доктора освидетельствовать пришлют – хуже будет. Нет, я вот что думаю: за границу на время надо удрать. Выкупные-то свидетельства у тебя еще есть?

– Да как тебе сказать? – на доньшке!

– И у меня дно видно. Плохо, брат. Всю жизнь эстетиками занимались да цветы удовольствия срывали, а теперь, как стряслось черт знает что, – и нет ничего!

– Есть у меня, мой друг, недвижимость: называется Проплеванная. Усадьба не усадьба, деревня не деревня, пустошь не пустошь... так, земля. А все-таки в случае чего побоку пустить можно!

– Пустяки, брат! Какому черту твою Проплеванную нужно?

– Нет, голубчик, и до сих пор находятся люди, которым нужно... Даже странно: кажется, зачем? ну кому надобно? – ан нет, выищется-таки кто-нибудь!

– Который тебе пятиалтынный даст. Слушай! говори ты мне решительно: ежели он нас поодиночке будет склонять – ты как ответишь?

Я дрогнул. Не то, чтобы я вдруг получил вкус к ремеслу сыщика, но испытание, которое неминуемо повлек бы за собой отказ, было так томительно, что я невольно терялся. Притом же страсть Глумова к предположениям казалась мне просто неуместною. Конечно, в жизни все следует предусматривать и на все рассчитывать, но есть вещи до того непредвидимые, что, как хочешь их предусматривай, хоть всю жизнь об них думай, они и тогда не утратят характера непредвидимости. Стало быть, об чем же тут толковать?

– Глумов! голубчик! не будем об этом говорить! – взмолился я.

– Ну, хорошо, не будем. А только я все-таки должен тебе сказать: призови на помощь всю изворотливость своего ума, скажи, что у тебя тетка умерла, что дела требуют твоего при-

сутствия в Проплеванной, но... отклони! Нехорошо быть сыщиком, друг мой! В крайнем случае мы ведь и в самом деле можем уехать в твою Проплеванную и там ожидать, покуда об нас забудут. Только что мы там есть будем?

– Помилуй, душа моя! цыплята, куры – это при доме; в лесах – тетерева, в реках – рыбы! А молоко-то! а яйца! а летом грибы, ягоды! Намеднись нам рыжиков соленых подавали – ведь они оттуда!

– Ну, как-нибудь устроимся; лучше землю грызть, нежели... Помнишь, Кшепшицюзьский намеднись рассказывал, как его за бильярдом в трактире потчевали? Так-то! Впрочем, утро вечера мудренее, а покуда посмотри-ка в «распределении занятий», где нам сегодня увеселяться предстоит?

Мы с новою страстью бросились в вихрь удовольствий, чтобы только забыть о предстоящем свидании с Иваном Тимофеичем. Но существование наше уже было подточено. Мысль, что вот-вот сейчас позовут и предложат что-то неслыханное, вследствие чего придется, пожалуй, закупориться в Проплеванную, – эта ужасная мысль следила за каждым моим шагом и заставляла мешать в кадрилях фигуры. Видя мою рассеянность, дамы томно смотрели на меня, думая, что я влюблен,

– Какой цвет волос вам больше нравится, мсье, – блондинки или брюнетки? – слышал я беспрестанно вопрос.

Наконец грозная минута наступила. Кшепшицюзьский, придя рано утром, объявил, что господин квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него касающемуся делу... и именно со мной.

– Об чем, не знаете? – полюбопытствовал я.

Но Кшепшицюзьский понес в ответ сущую околесицу, так что я только тут понял, как неприятно иметь дело с людьми, о которых никогда нельзя сказать наверное, лгут они или нет. Он начал с того, что его начальник получил в наследство в Повенецком уезде пустошь, которую предполагает отдать в приданое за дочерью («гм... вместо одной, пожалуй, две Проплеванных будет!» – мелькнуло у меня в голове); потом перешел к тому, что сегодня в квартале с утра полы и образа чистили, а что вчера пани квартальная ездила к портнихе на Слоновую улицу и заказала для дочери «монто». При этом пан Кшепшицюзьский хитро улыбался и искоса на меня поглядывал.

– Отчего же Глумова не зовут? – спросил я.

– А як же ж можно двоух!

– Нужно говорить «двех», а не «двоух», пан Кшепшицюзьский! – наставительно произнес Глумов и, обратись ко мне, пропел из «Руслана»:

М-и-и-и-л'ые д'ет-ти! Не-бо устррро-ит в'ам рад-доть!

– Ступай, брат, с миром, и бог да определит тебя к месту по желанию твоему!

* * *

Клянусь, я был за тысячу верст от того удивительного предложения, которое ожидало меня!

Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеич, в припадке сильной агитации, ходил взад и вперед по комнате. Очевидно, он сам понимал, что испытание, которое он готовит для моей благонамеренности, переходит за пределы всего, что допускается уставом о пресечении и предупреждении преступлений. Вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий, на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка «ренского» вина.

– Ну, вот и слава богу! – воскликнул он, порывисто схватывая меня за обе руки, точно боялся, что я сейчас выскользну. – Балычка? сижка копченого? Милости просим! Ах, да белорыбицы-то, кажется, и забыли подать! Эй, кто там? Белорыбицу-то, белорыбицу-то велите скорее нести!

– Благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты... дело какое-нибудь имеете до меня?

– Да, дело, дело! – заторопился он, – да еще дело-то какое! Услуги, мой друг, прошу! такой услуги... что называется, по гроб жизни... вот какой услуги прошу!

Начало это несколько смутило меня. Очевидно, меня ожидало что-нибудь непредвиденное.

– Да, да, да, – продолжал он суетливо, – давно уж это дело у меня на душе, давно собираюсь... Еще в то время, когда вы предосудительными делами занимались, еще тогда... Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю!

Он оглянул меня с головы до ног, как бы желая удостовериться, действительно ли я тот самый «подходящий человек», об котором он мечтал.

– Обещайте, что вы мою просьбу выполните! – молвил он, кончив осмотр и взглядывая мне в глаза.

– Иван Тимофеич! после всего, что произошло, позволительны ли с вашей стороны какие-либо сомнения?

– Да, да... довольно-таки вы поревновали... понимаю я вас! Ну, так вот что, мой друг! приступимте прямо к делу! Мне же и недосуг: в Эртелевом лед скалывают, так присмотреть нужно... сенатор, голубчик, там живет! нехорошо, как замечание сделает! Ну-с, так изволите видеть... Есть у меня тут приятель один... такой друг! такой друг!

Он запнулся и заискивающе взглянул на меня, точно ждал моей помощи.

– Ну-с, так приятель... что же этот приятель? – поощрил я его.

– Так вот, есть у меня приятель... словом сказать, Парамонов купец... И есть у него... Вы как насчет фиктивного брака?... одобряете? – вдруг выпалил он мне в упор.

– Помилуйте! даже очень одобряю, ежели... – сконфузился я.

– Вот именно так: ежели! Сам по себе этот фиктивный брак – поругание, но «ежели»... По обстоятельствам, мой друг, и закону премена бывает! как изволит выражаться наш господин частный пристав. Вы что? сказать что-нибудь хотите?

– Нет, я ничего... я тоже говорю: по обстоятельствам и закону премена бывает – это верно!

– Так вот я и говорю: есть у господина Парамонова штучка одна... и образованная! в пансионе училась... Он опять запнулся и в смущении опустил глаза.

– Не желаете ли вы вступить с этой особой в фиктивный брак? – быстро спросил он меня таким тоном, словно бремя скатилось с его души.

К сожалению, я не могу сказать, что не понял его вопроса. Нет, я не только понял, но даже в висках у меня застучало. Но в то же время я ощущал, что на мне лежит какой-то гнет, который сковывает мои чувства, мешает им перейти в негодование и даже самым обидным образом подчиняет их инстинктам самосохранения.

Иван Тимофеич очень тонко подметил этот разлад чувств. С одной стороны, в висках стучит, с другой – сердце объемлет жажда выказать благонамеренность... Так что, когда я, вместо ответа, в свою очередь предложил вопрос:

– Но почему же именно я?

То он не только не увидел в этом повода для прекращения разговора, но еще с большею убедительностью приступил к дальнейшим переговорам.

– Слушай, друг! – сказал он ласково, ободряя меня, – ежели ты насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся! Онуфрий Петрович и теперь, и на будущее время не оставит!

Нервы мои окончательно упали. Я старался что-нибудь сообразить, отыскать что-нибудь – и не мог. Я беспомощно смотрел на моего истязателя и бормотал:

– Позвольте... что касается до брака... право, в этом отношении я даже не знаю, могу ли назвать себя вполне ответственным лицом...

Клянусь, будь на месте Ивана Тимофеича сам Шешковский – и тот бы тронулся моим видом. И тот сказал бы себе: вот человек, в котором благонамеренность уже достигла тех пределов, за которыми дальнейшие испытания становятся в высшей степени рискованными. И, сознавши это, отпустил бы меня с миром, предварительно обнадежив, что начальство очень хорошо понимает мои колебания и отнюдь не сочтет их за противодействие властям. Но у Ивана Тимофеича, по-видимому, совсем не было государственного смысла, а потому он счел возможным идти дальше.

– Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг, – успокоивал он меня. – Съездите в церковь (у портного Руча вам для этого случая «пару» из тонкого сукна закажут), пройдете три раза вокруг наложия, потом у кухмистра Завитаева поздравление примете – и дело с концом. Вы – в одну сторону, она – в другую! Мило! благородно!

Нарисовав мне эту картину, он, очевидно, ждал, что я сейчас же изъявлю согласие, но я молчал.

– А что касается до вознаграждения, которое вы для себя выговорите, – продолжал он соблазнять меня, – то половину его вы до, а другую – по совершении брака получите. А чтобы вас еще больше успокоить, то можно и так сделать: разрежьте бумажки пополам, одну половину с номерами вы себе возьмете, другая половина с номерами у Онуфрия Петровича останется... А по окончании церемонии обе половины и соединятся... у вас!

Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Какое-то ужасно сложное чувство угнетало меня, Я и благонамеренность желал сохранить, и в то же время говорил себе: ну нет, вокруг наложия меня не поведут... нет, не поведут! Отсюда – целый ряд галлюцинаций, обещающих сверхъестественное и чудесное избавление. То думалось: вот-вот Ивана Тимофеича апоплексический удар хватит – и вся эта история с фиктивным браком разлетится как дым. То представлялось: обрушивается потолок и повреждает Ивана Тимофеича, а меня оставляет невредимым – и опять все исчезает.

И вот именно сверхъестественное и выручило меня. В ту самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я всею силою облегченной груди крикнул:

– Иван Тимофеич! вот он!

Да, это был он, то есть избавитель, то есть «подходящий человек», по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин.

Я с восхищением смотрел на него, хотя он значительно изменился, и притом не в свой авантаж⁶. По-прежнему поступь его была тороплива, и в движениях сквозило легкомыслие, но изнурительные занятия, видимо, подействовали, и на лицо уже легли расплюевские тени. Я не скажу, чтоб Балалайкин был немыв, или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые – как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.

Самого Ивана Тимофеича словно свет озарил, когда вошел Балалайкин.

– Господин Балалайка! а я-то... а мы-то... а он – вот он он! – беспорядочно восклицал он, раскрывая широкие объятия, – господин Балалайка! ах ты, ах! закусить? рюмочку пропустить?

– Нет, mon cher, я на минуточку! спешу, мой ангел, спешу! – отнекивался Балалайкин. – Вот что: есть тут индивидуид один... взыскание на него у меня, так нужно бы подстеречь...

⁶ См. «Экскурсии в область умеренности и аккуратности». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– С удовольствием! и даже с превеликим... сейчас! сию минуту! Ах ты, ах! Да, никак, ты помолодел! Повернись! сделай милость, дай на себя посмотреть!

– Не могу, душа моя, не могу! в конкурс спешу! Вот записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай!

– Да нет же, стой! А мы только что об тебе говорили, то есть не говорили, а чувствовали: кого, бишь, это недостает? Ан ты... вот он он! Слушай же: ведь и у меня до тебя дело есть.

Балалайкин вынул из кармана хронометр, взглянул на циферблат и сказал:

– У меня есть свободного времени... да, именно три минуты я могу уделить. Конкурс открывается в три часа, теперь без пяти минут три, две минуты нужно на проезд... да, именно три минуты я имею впереди. Ну-с, так в чем же дело?

– Скажи: ты всякие поручения исполняешь?

– Всякие. Дальше.

– Жениться можешь?

– Это... зависит!

– Ну, конечно, не за свой счет, а по препоручению!

– Мо... могу!

– Так видишь ли: есть у меня приятель, а у него особа одна... вроде как подруга...

– Душенька то есть?

– Ну, как там по-твоему... И есть у него желание, чтобы эта особа в законе была... чтобы в метрических книгах и прочее... словом, все – чтобы как следует... А она чтобы между тем...

– С удовольствием, мой друг, с удовольствием!

– Ну-с, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает!

– Гм... Прежде нежели ответить на этот вопрос, я, с своей стороны, предлагаю другой: кто тот смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?

– Ты прежде скажи...

– Нет, ты прежде скажи, а потом и я разговаривать буду. Потому что ежели это дело затеял, например, хозяин твоей мелочной лавочки, так напрасно мы будем и время попустому тратить. Я за сотенную марасть себя не намерен!

Иван Тимофеич замаялся. Очевидно, он имел в виду комиссионный процент и боялся, чтоб Балалайкин не обратился прямо к Парамонову, без посредства комиссионеров. Но после минутного размышления он, однако ж, решился.

– Ежели я Парамонова Онуфрия Петровича назову – слышал?

– Намеднись даже в стуколку с ним вместе играл, – солгал Балалайкин, – Фалелеев Сидор Кондратьич, Бобков Герасим Фомич, Генералов Федор Кузьмич, Парамонов и я.

– Ну, как же по-твоему?

– А вот как. У нас на практике выработалось такое правило: ежели дело верное, то брать десять процентов с цены иска, а ежели дело рискованное. – то по соглашению.

– Чудак ты! как же ты бабу ценить будешь?

– Сейчас. Сколько господин Парамонов на эту самую «подругу» денег в год тратит?

– Как сказать... Одевает-обувает... ну, экипаж, квартира... Хорошо содержит, прилично! Меньше как двадцатью тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ах, да и штучка-то хороша!

– А принимая во внимание, что купец Парамонов – меняло, а с таких господ, за уродливость, берут вдвое, то предположим, что упомянутый выше расход в данном случае возрастет до сорока тысяч.

– Предполагай, пожалуй!

– Теперь пойдем дальше. Имущества недвижимые, как тебе известно, оцениваются по десятилетней сложности дохода; имущества движимые, как, например: мебель, картины, произведения искусств, – подлежат оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?

– Так-то так, да ведь тут...

– Позволь, об этом будет дальше. «Штучка», о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но притом снабженное такими признаками, на которые в законах прямых указаний не имеется. Поэтому в деле оценки подобного имущества необходимо прибегнуть к несколько иному методу, более соответствующему характеру самой движимости. Так, например, если допустим способ смешанный: то есть, с одной стороны, прибегнем к экспертизе, а с другой – не пренебрежем и принципом десятилетней сложности дохода, то, кажется, мы придем к результату довольно удовлетворительному. А именно: в смысле экспертизы, самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше движимости сорок тысяч рублей и тем самым, так сказать, определяет годовой доход с нее...

– Не с нее, а ее...

– С нее или ее – не будем спорить о словах. Приняв цифру сорок тысяч, как базис для дальнейших наших операций, и помножив ее на десять, мы тем самым определим и ценность движимости цифрою четыреста тысяч рублей. Теперь идем дальше. Эта сумма в четыреста тысяч рублей могла бы быть признана правильной, ежели бы дело ограничивалось одною описью, но, как известно, за описью необходимо следуют торги. Какая цена состоится на торгах – этого мы, конечно, определить не можем, но едва ли ошибемся, сказав, что она должна удвоиться. А затем цифра гонорара определяется уже сама собою. То есть: восемьдесят, а для круглого счета – сто тысяч рублей.

Я внимал ему, затаив дыхание; но когда он выговорил цифру сто тысяч, то, признаюсь, у меня даже коленки затряслись.

– Берите пятьдесят! – подсказал я ему, сам, впрочем, не понимая, почему мне пришла на ум именно эта сумма, а не другая.

Но он даже не удостоил меня взглядом.

– Я уже опоздал на целую минуту, – сказал он, смотря на часы, – затем, прощайте! И буде условия мои будут признаны необременительными, то прошу иметь в виду!

Несколько минут Иван Тимофеич стоял как опаленный. Что касается до меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо, за несообразностью речей Балалайкина, дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли – убедительность, которою она едва ли когда-нибудь обладала.

– Иван Тимофеич! – воскликнул я, – сообразите! Ведь это дело – ведь это такое дело, что, право, дешевым образом обставить его нельзя!

Но он, по-видимому, не слышал меня и бормотал:

– Диви бы за дело, а то... другой бы даже за удовольствие счел...

И вдруг, обратившись ко мне:

– Ну, а вы как... какого вознаграждения желали бы? – спросил он и с горькой усмешкой прибавил, – для вас, может быть, и двухсот тысяч мало будет?

Но тут-то именно я и показал себя.

– Выслушайте меня, прошу вас! – сказал я. – Вы давно уже видите и знаете мое сердце. Вам известно, интересан ли я и страдаю ли недостатком готовности служить – на пользу общую. В деньгах я не особенно нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей; что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в двух словах: я готов! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он – бедный человек, Иван Тимофеич! и хотя говорит, что адвокатура дает ему не меньше двадцати пяти тысяч в год, но это он лжет! Помилуйте! разве можно верить какие-нибудь серьезные интересы... Бал-алайки-ну? И даже самый конкурс, на который он сейчас ссылаясь, разве есть возможность верить в его существование? – Нет, и тысячу раз нет! Верьте,

что, несмотря на свой шик, он с каждой минутой все больше и больше погружается в тот омут, на дне которого лежит Тарасовка. И в доказательство...

З взял со стола записку, которую оставил Балалайкин, и прочитал:

«По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона...»

– Понимаете ли вы теперь, какие у него дела? – продолжал я, – и как ему нужно, до зарезу нужно, чтоб на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде, например, того который представляет затея купца Парамонова?

Иван Тимофеич молчал, но для меня и то было уже выигрышем, что он слушал меня. Его взор, задумчиво на меня устремленный, казалось, говорил: продолжай! Понятно, с какою радостью я последовал этому молчаливому приглашению.

– С другой стороны, – говорил я, – ведь не вам придется платить деньги! Конечно, Балалайкин заломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, что в эту минуту он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувствованных слов – и вы увидите, что он сейчас же съедет на десять тысяч, а может быть, и на две! Наверное, он уж теперь позабыл, что сто тысяч слетели у него с языка. Почему он сказал сто тысяч, а не двести, не миллион? – не потому ли, что цифра сто значится в записке о взыскании с мещанина Эзельсона? Я, конечно, этого не утверждаю, но думаю, что это догадка не безосновательная. Завтра он принесет к вам записку о взыскании двух рублей и сообразно с этим уменьшит и требование свое до двух тысяч. Но если бы даже он и окончательно «становился, например, на десяти тысячах, то, право, это не много! Ведь поручение-то... ах, какое это поручение! И что вам, наконец? Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?

Я говорил долго и убедительно, и Иван Тимофеич был тем более поражен справедливостью моих доводов, что никак не ожидал от меня такой смелой откровенности. Подобно всем сильным мира, он был окружен плотной стеной угодников и льстецов, которые редко позволяли слову истины достигнуть до ушей его.

– Вы правый – сказал он, наконец, с какою-то особенною искренностью пожимая мне руку, – и хотя мы не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю! Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром!

* * *

Я летел домой, не чувствуя ног под собою, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все: и в каком я был ужасном положении, и как на помощь мне вдруг явилось нечто неисповедимое...

– Поверь, что это за благонамеренность нашу! – сказал я в заключение.

– Так-то так, да ты прежде подожди: возьмет ли еще Балалайкин десять-то тысяч?

– Помилуй, душа моя, как ему не взять! ведь он...

Я с жаром принялся доказывать, что нельзя Балалайке десяти тысяч не взять, что, в противном случае, он погибнуть должен, что десяти тысяч на полу не поднимешь и что с десятью тысячами, при настоящем падении курсов на ценные бумаги... И вдруг в самом разгаре моих доказательств меня словно обожгло.

– Глумов! да ведь Балалайка женат и имеет восемь человек детей! – крикнул я не своим голосом.

IV

Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина, и на другой же день, при содействии Кшепшицпольского, получили следующую справку:

"Балалайкин (имя и отчество неизвестны), адвокат. Проживает 2-й Адмиралтейской части, в доме бывшем Зондермана, на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала. Пишет прошения, приносит кассационные и апелляционные жалобы и вообще составляет всякого рода бумаги, а в том числе и не указанные в законах. Как-то: поздравительные стихи для разносчиков афиш и клубных швейцаров, куплеты для театра Егарева, азбуки и хрестоматии, а также любовные письма (со стихами и без стихов) для лиц, не кончивших курса в средних учебных заведениях. Кроме сего, отыскивает, по поручениям, женихов и невест, следит по газетам за объявлениями о пропавших собаках и принимает меры к отысканию потерянного, занимается устройством предварительных обстановок, необходимых для удовлетворительного разрешения бракоразводных дел, и на сей конец содержит на жалованье от 4-х до 5-ти лже-свидетелей. В пропагандах, прокламациях и вообще ни в чем предосудительном не замечен. Женат и имеет восемь дочерей. Жена никаких постоянных средств к пропитанию себя с семейством (в том числе восьмидесятилетняя старушка-бабушка) не имеет, кроме белошвейного мастерства, доставляющего ничтожный доход. Живет это семейство в величайшей бедности в селе Кузьмине, близ Царского Села, получая от Балалайкина, в виде воспособления, не больше десяти рублей в месяц".

Можно себе представить, как поразила меня эта реляция!

– Воля твоя, – сказал я Глумову, – а я ни под каким видом на "штучке" купца Парамонова не женюсь. И, в крайнем случае, укажу на тебя, как на более достойного.

– Да погоди же голову-то терять, – возразил Он мне спокойно, – ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат – в этом, конечно, сомневаться нельзя; но разве ты не чувствуешь, что тут сквозит какая-то тайна, которая, я уверен, в конце концов даст нам возможность выйти с честью из нашего положения.

– Но это – тайна Балалайкина, раскрытие которой даже вовсе не интересует меня. Для меня в этом деле ясно одно: Балалайкин женат!

– Не горячись, сделай милость. Во-первых, пользуясь стесненным положением жены Балалайкина, можно ее уговорить, за приличное вознаграждение, на формальный развод; во-вторых, ежели это не удастся, можно убедить Балалайку жениться и при живой жене. Одним словом, необходимо прежде всего твердо установить цель: во что бы ни стало женить Балалайку на "штучке" купца Парамонова – и затем мужественно идти к осуществлению этой цели.

Волей-неволей, но пришлось согласиться с Глумовым. Немедленно начертали мы план кампании и на другой же день приступили к его выполнению, то есть отправились в Кузьмине. Однако ж и тут полученные на первых порах сведения были такого рода, что никакого практического результата извлечь из них было невозможно. А именно, оказалось:

1) Что Балалайкина жена по уши влюблена в своего мужа и ни о каких предложениях (Глумов двадцать пять рублей давал) относительно устройства приличной "обстановки" в видах расторжения брака – слышать не хочет.

2) Что Балалайкин сохраняет свой брак в большой тайне. Никто в семье не знает, что он адвокат, получающий значительный доход от поздравительных стихов, сочиняемых клубным швейцарам. И жена, и старая бабушка убеждены, что он служит в артели посыльных.

3) Что Балалайкин наезжает в Кузьмине один раз в неделю, по субботам, всегда в полной парадной форме посыльного и непременно на лихаче. Тогда в семье бывает ликованье, потому

что Балалайкин привозит дочерям пряников, жене – моченой груши, а старой бабушке – штоф померанцевой водки. Все семейные твердо уверены, что это – гостинцы ворованные.

– Он-то говорит, что купцы дают, – сказала нам старуха-бабушка, – да уж где, чай!

А дочка присовокупила:

– И то сказать, трудно в ихнем сословии без греха прожить! Цельный день по кухням да по лавкам шляют, то видят, другое видят – как тут себя уберечи!

Все это было далеко не поощрительно, однако Глумов и тут надежды не терял.

– И прекрасно, – сказал он, – пускай себе ломается, и без нее обойдемся! Теперь, по крайней мере, путаться не станем, а прямо будем бить на двоеженство!

Словом сказать, опасность заставила нас окончательно позабыть, что нам предстояло только "годить", и по уши погрузила нас в самую гущу благонамеренной действительности. Мы вполне искренно принялись хлопотать, изворачиваться и вообще производить все те акты, с которыми сопрягается безопасное плавание по житейскому морю.

Через несколько дней, часу в двенадцатом утра, мы отправились в Фонарный переулок, и так как дом Зондермана был нам знаком с юных лет, то отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Признаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, когда мы подошли к двери, на которой была прибита дощечка с надписью: Balalaikine, avocat. Увы! в былое время тут жила Дарья Семеновна Кубарева (в просторечии Кубариха) с шестью молоденькими и прехорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей.

Дарья Семеновна была вдова учителя латинского языка, который, к несчастью, смешивал герундиум с супинутом и за это был предан, по распоряжению начальства, суду. А так как он умер, не успев очистить себя от обвинений, то постигшая его невзгода косвенным образом отразилась и на его вдове: ей было отказано в пенсии. Оставшись без всяких средств к существованию, Дарья Семеновна понадеялась было, что ей удастся продать латинскую грамматику, которую издал ее муж и бесчисленные экземпляры которой, в ожидании судебного решения, украшали ее квартиру, но, увы! судьба и тут не оказалась к ней благосклонною. Решение суда не заставило себя долго ждать, но в нем было сказано: "Хотя учителя Кубарева за распространение в юношестве превратных понятий о супинах и герундиях, а равно и за потрясение основ латинской грамматики и следовало бы сослать на жительство в места не столь отдаленные, но так как он, состоя под судом, умре, то суждение о личности его прекратить, а сочиненную им латинскую грамматику сжечь в присутствии латинских учителей обеих столиц". Погоревала-погоревала бедная вдова, посоветовалась с добрыми людьми – и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц, но, разумеется, без древних языков.

Дарья Семеновна была женщина веселая и хлебосолка, а потому педагогическая часть в ее пансионе была несколько слаба. Учили больше хорошим манерам и светскому обращению. Каждый вечер до поздних петухов стоял в ее квартире, как говорится, дым коромыслом. Играл тапер на стареньких клавикордах; молодые люди танцевали, курили папиросы, угощались пивом, водкой, а изредка и шампанским. По временам случались и драки, но хозяйка обладала на этот счет таким тактом, что подравшиеся при первом намеке на будочника немедленно унимались и посылали за пивом. Только по субботам и накануне больших праздников дверь квартиры учительницы Кубаревой отпиралась лишь для самых близких знакомых. В эти вечера в комнатах зажигались лампадки, воспитанницы умилялись и вздыхали, а Дарья Семеновна набожно говорила:

– Весельем людским живу... а бога помню!

Лет пятнадцать тому назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав двадцатипятилетие своей педагогической деятельности, хотя и без древних языков. Скончалась старушка тихо, в большом кресле на колесах, с которого в последнее время не вставала; скончалась под звуки тапера, проводившие ее в иной мир. Я помню: мы беспечно танцевали, в одном углу хлопнула

пробка, в другом – раздалась пощечина; смотрим, а ее уж и нет! Говорят, перед смертью она получила дар прозорливства и предсказала, что в квартире ее поселится Балалайкин.

Весьма естественно, что прежде, нежели позвонить, мы остановились перед этою дверью, подавленные целым роем воспоминаний.

– Тут... было? – первый прервал молчание Глумов.

– Да, мой друг... тут!

– Тапера, Ивана Иваныча, помнишь?

– Как живой и теперь стоит передо мной!

– Представь себе! ведь он отец семейства был... Я у него детей крестил, а Кессених кумой была, и, как сейчас помню, он нас в ту пору шамандкухеном угощал.

– А Стрекозу помнишь?

– Еще бы! первый мазурист на вечерах у Дарьи Семеновны был! здесь, в этой квартире, и воспитание получил! А теперь, поди-тко, тайный советник, в комиссиях заседает – рукой до него не достать!

– Вообрази: встречаю я его на днях на Невском, и как раз мне Кубариха на память пришла: помните? говорю. А он мне вдруг стихами:

Вельможу должны украшать
Ум здравый, сердце просвещенно...

И об Кубарихе ни полслова – вот он нынче как об себе полагает!

– Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Только вот мы с тобой...

Я машинально протянул руку и подавил пуговку электрического звонка. Раздался какой-то унылый, дребезжащий звон, совсем не тот веселый, победный, светлый, который раздавался здесь когда-то. Один из лжесвидетелей, о которых упоминалось в справке, добытой из 2-й Адмиралтейской части, отпер нам дверь и сказал, что нам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами.

Мы вошли в приемную комнату, и сердца наши тоскливо сжались. Да, именно в этой угловой комнате, выходящей окнами и на Фонарный переулок и на Екатериновку, она и скончалась, добрая, незабвенная Кубариха! Вот тут, у этой стены, стояли старые, разбитые клавикорды; вдоль прочих стен расставлены были стулья и диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной материей; по углам помещались столики и *etablisements*⁷, за которыми лилось пиво; посредине – мы танцевали. Картины из прошлого, одна за другой, совершенно живые, так и метались перед моим умственным оком.

– Дарья Семеновна! тут ли вы? – воскликнул я, совсем забывшись под наплывом воспоминаний.

Увы! ни один звук не ответил на мой сердечный вопль. Просторная приемная комната, в которой мы находились, смотрела холодно и безучастно, и убранство ее отличалось строгою простотой, которая совсем не согласовалась с профессией устройства предварительных обстановок по бракоразводным делам. Признаюсь, приличность балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я ожидал увидеть нечто вроде квартиры средней руки кокотки – и вдруг очутился в помещении скромного служителя Фемиды, понимающего, что, чем меньше будет в его квартире драк, тем тверже установится его репутация как серьезного адвоката. Посредине стоял дубовый стол, на котором лежали, для увеселения клиентов, избранные сочинения Беллю в русском переводе; вдоль трех стен расставлены были стулья из цельного дуба с высокими резными спинками, а четвертая была занята громадным библиотечным шкафом, в

⁷ Стойки.

котором, впрочем, не было иных книг, кроме "Полного собрания законов Российской империи". Очевидно, что Балалайкин импонировал этою комнатою, хотел поразить ею воображение клиента и в то же время намекнуть, что всякое оскорбление действием будет неуклонно преследуемо на точном основании тех самых законов, которые стоят вот в этом шкафу. Ничего лишнего, мишурного, напоминающего о прелюбодеянии и лжесвидетельстве, не бросалось в глаза, только в углу стоял довольно подержанный полурояль, от которого несколько отдавало Дарьей Семеновной. Рояль этот, как я узнал после, был подарен Балалайкину одним не- состоятельным должником в благодарность за содействие к сокрытию имущества, и Балалайкин, в свободное от лжесвидетельств время, подбирал на нем музыку куплетов, сочиняемых им для театра Егарева. Тем не менее этот рояль так обрадовал меня, что я подбежал к нему, и если бы не удержал меня Глумов, то, наверное, сыграл бы первую фигуру кадрили на мотив "чижик! чижик! где ты был?", которая в дни моей молодости так часто оглашала эти стены.

Глумов тоже, по-видимому, не ожидал подобной обстановки, но он не был подавлен ею, подобно мне, а скорее как бы не верил своим глазам. Чмокал губами, тянул носом воздух и вообще подыскивался. И наконец отыскал.

– Пахнет! – сказал он мне шепотом.

Я тоже инстинктивно потянул носом воздух.

– Дарья Семеновна... она! Она эти самые духи употребляла, когда поджидала "гостей"!

Я начал припоминать... и вдруг до такой степени вспомнил, что даже краска бросилась мне в лицо.

– Глумов! голубчик! эти духи... да ведь она жива! она здесь! – воскликнул я вне себя от восхищения. – Дарья Семеновна! вы?

И только тогда опомнился, когда Глумов, толкнув меня под локоть, указал глазами на двух клиентов, которые сидели в той же комнате, в ожидании Балалайкина.

* * *

По странной игре судьбы, клиенты эти наружным своим видом напоминали именно то самое прошлое, которое так тоскливо заставляло биться мое сердце. Один был человек уже пожилой и имел физиономию благородного отца из дома терпимости. Чувство собственного достоинства несомненно было господствующею чертою его лица, но в то же время представлялось столь же несомненным, что где-то, на этом самом лице, повешена подробная такса (видимая, впрочем, только мысленному оку), объясняющая цифру вознаграждения за каждое наносимое увечье, начиная от самого тяжкого и кончил легкою оплеухой. Мне показалось, что где-то, когда-то я видал этого человека, и, чем более я всматривался в него, тем больше росла во мне уверенность, что видел я его именно в этом самом доме.

Да, это он! – говорил я сам себе, – но кто он? Тот был щедушный, мизерный, на лице его была написана загнанность, забитость, и фрак у него... ах, какой это был фрак! зеленый, с потертыми локтями, с светлыми пуговицами, очевидно, перешитый из вицмундира, оставшегося после умершего от геморроя титулярного советника! А этот – вон он какой! Сыт, одет, обут – чего еще нужно! И все-таки это – он, несомненно, он, несмотря на то, что смотрит как только сейчас отечканенный медный пятак!

Другой клиент был совсем юноша, красный, как рак, без всякого признака капиллярной растительности на лице, отчего и казался как бы совершенно обнаженным. Он напомнил мне некоего Жорженьку (ныне статский советник и кавалер), который в былое время хотя и не участвовал в общих увеселениях, происходивших в этой зале, но всегда в определенный час появлялся из внутренних апартаментов и, запыхавшись, с застенчивою торопливостью перебежал через залу, причем воспитанницы кричали ему: Жорженька! Жорженька! хорошо выдержали экзамен?

Через четверть часа ожидания за дверью, ведущую в кабинет Балалайкина, послышался шум, я вслед за тем оттуда вышла, шурша платьем и грузно ступая ногами, старуха, очевидно, восточного происхождения. Осунувшееся лицо ее было до такой степени раскрашено, что издали производило иллюзию маски, чему очень много способствовали большой и крючковатый грузинский нос и два черных глаза, которые стекловидно высматривали из впадин. Эту женщину я тоже где-то и когда-то видел, да и она меня где-то и когда-то видела, но ни мне, ни ей, конечно, и на мысль не пришло разьяснять, при каких обстоятельствах произошло наше знакомство. Поддерживаемая Балалайкиным под руку (он называл ее при этом княгиней, но я мог дать руку на отсечение, что она – сваха от Вознесенского моста), она медленно направилась к выходной двери, но, проходя мимо шкафа с книгами, остановилась, как бы пораженная его величием.

– Все читал? – спросила она Балалайкина, указывая костлявым пальцем на корешки переплетов.

– Княгиня! – воскликнул он, как бы удивленный, что ему может быть предложен такой вопрос.

– Ну, будь здоров!

Проводивши старуху, Балалайкин прежде всего обратился к нам. Он был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка ловко обрисовывала его формы и отлично оттеняла белизну белья; пробор на голове был сделан так тщательно, что можно было думать, что он причесывается у ваятеля; лицо, отдохнувшее за ночь от вчерашних повреждений, дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента, что бы он ни попросил; штаны сидели почти идеально; но что всего важнее: от каждой части его лица и даже тела разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала. Он напомнил нам, что знаком с нами по Ивану Тимофеичу, и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь отзавтракать с ним.

– Через четверть часа я к вашим услугам, messieurs, а теперь... вы позволите? – прибавил он, указывая на ожидавших клиентов.

– Ну-с, – начал он, подходя к юноше, – письмо наше возымело действие?

– Возымело, господин Балалайкин, только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное.

– Именно?

– Вот и ответ-с.

Балалайкин взял поданное письмо и довольно громко прочитал: "А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать"...

– Гм... да... Ответ, конечно, не совсем благоприятен, хотя, с другой стороны, сердце женщины... Что ж! будем новое письмо сочинять, молодой человек – вот и все!

– Со стихами бы, господин Балалайкин!

– Можно. Из Виктора Гюго, например;

O, ma charmante!
Ecoute ici!
L'amant qui chante
Et pleure aussi.⁸

Ладно будет?

– Хорошо-с; но ведь она по-французски не знает.

⁸ О моя прелесть! Прислушайся! Здесь поет и плачет возлюбленный!

– Это ничего; вот и вы не знаете, да говорите же "хорошо". Незнание, знаете... она на воображение действует! У греков-язычников даже капище особенное было с надписью: "неизвестному богу"... Потребность, значит, такая в человеке есть! А впрочем, я и по-русски могу:

Кудри девы-чародейки,
Кудри – блеск и аромат!
Кудри – кольца, кудри – змейки,
Кудри – бархатный каскад!

Хорошо? приходите завтра – будет готово... Цена...

Балалайкин поднял правую руку и показал все пять пальцев.

– Рублей, – присовокупил он строго.

– Нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? – взмолился молодой человек, – ей-богу, мамаша всего десять рублей в месяц дает: тут и на папиросы, тут и на все-с!

– Нельзя, молодой человек! желаете иметь успех у женщин и жалеете пяти рублей... фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша: дает мало денег – добывайте сами! Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество! Итак, повторяю: завтра будет готово. До свидания... победитель!

Балалайкин, в знак окончания аудиенции, подал юноше два пальца, которые тот принял с благоговением.

– Ну-с, теперь ваша очередь! – обратился он к пожилому клиенту.

– Вот уж пять лет, как жена моя везде ищет удовлетворения, – начал благородный отец и вдруг остановился, как бы выжидая, не нанесет ли ему Балалайкин какого-нибудь оскорбления.

Балалайкин, однако ж, воздержался и только сквозь зубы процедил "гм"...

Но на меня этот голос подействовал потрясающим образом. Я уже не вспоминал больше, я вспомнил. Да, это – он! твердил я себе, он, тот самый, во фраке с умершего титулярного советника! Чтобы проверить мои чувства, я взглянул на Глумова и без труда убедился, что он взволнован не меньше моего.

– Он! – шепнул он, слегка толкнув меня локтем в бок.

– Жена моя содержит гласную кассу ссуд, – продолжал между; тем благородный отец, убедившись, что никто из присутствующих не намерен платить по таксе даже за самую легкую оплеуху, – я же состою редактором по вольному найму при газете "Краса Демидрона", служащей органом политических и литературных мнений Егарева и Малафеева. К сожалению, наша газета, не будучи изъята из ведомства общей цензуры, в то же время, по специальности, находится в ведении комитета ассенизации столичного города С.-Петербурга. Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений – два раза лишился рассудка; во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета – получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по вольному найму!

Он произнес эту вступительную речь с таким волнением, что под конец голос его пресекался. Грустно понутив голову, высматривал он одним глазком, не чешутся ли у кого из присутствующих руки, дабы немедленно предъявить иск о вознаграждении по таксе. Но мы хотя и сознавали, что теперь самое время для "нанесения", однако так были взволнованы рассказом о свойственных вольнонаемному редактору бедствиях, что отложили выполнение этого подвига до более благоприятного времени.

– Правда, что взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями, а именно: 1) имею бесплатный вход летом в Демидов сад, а на масленице и на святой пользуюсь правом хоть целый день проводить в балаганах Егарева и Малафеева; 2) в семи трактирах, в особенности рекомендуемых нашею газетою вниманию почтеннейшей публики, за несоблюдение в кухнях чистоты и неимение на посуде полуды, я по очереди имею право однажды в

неделю (в каждом) воспользоваться двумя рюмками водки и порцией селянки; 3) ежедневно имею возможность даром ночевать в любом из съезжих домов и, наконец, 4) могу беспрепятственно присутствовать в любой из камер мировых судей при судебном разбирательстве. Но предоставляю вам самим, милостивые государи, судить, что значат все эти привилегии в сравнении с исчисленными сейчас обязанностями?

Он опять поник головой, но все доселе высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать какими-либо напоминаниями о скорейшем приступе к делу.

– Жалованья я получаю двадцать пять рублей в месяц, – продолжал он после краткого отдыха. – Не спорю: жалованье хорошее! но ежели принять во внимание: 1) что, по воспитанию моему, я получил потребности обширные; 2) что съестные припасы с каждым днем делаются дороже и дороже, так что рюмка очищенной стоит ныне десять копеек, вместо прежних пяти, – то и выходит, что о бифштексах да об котлетках мне и в помышлении держать невозможно!

– Позвольте, однако! – не воздержался я, – ведь вы сами сейчас сказали, что имеете право на бесплатное получение ежедневно двух рюмок водки и порции селянки! Мне кажется, что в вашем звании...

– Вам кажется, господин? Но скажите по совести: может ли быть человек сыт и пьян, получая в день одну порцию селянки, составленной из веществ загадочных и трудноваримых, и две рюмки водки, которые буфетчик с намерением не долиивает до краев?

В голосе его звучала такая горькая искренность, что я невольно умолкнул.

– По моему воспитанию, мне не только двух рюмок и одной селянки, а двадцати рюмок и десяти селянок – и того недостаточно. Ах, молодой человек! молодой человек! как вы, однако, опрометчивы в ваших суждениях! – говорил между тем благородный отец, строго и наставительно покачивая головой в мою сторону, – и как это вы, милостивый государь, получивши такое образование...

– Возвратимся к рассказу, – прервал его Балалайкин, обязательно поспешая мне на выручку против дальнейших репримандов старца, у которого начала уже настолько явственно выступать на лице такса, что я без всяких затруднений прочитал:

"За словесное оскорбление укоризною в недостатке благовоспитанности, а равно и в неимении христианских правил... 20 коп."

Но благородный отец унялся не сразу.

– К тому же, я сластолюбив, – продолжал он. – Я люблю мармелад, чернослив, изюм, и хотя входил в переговоры с купцом Елисеевым, дабы разрешено было мне бесплатно входить в его магазины и пробовать, но получил решительный отказ; купец же Смуров, вследствие подобных же переговоров, разрешил выдавать мне в день по одному поврежденному яблоку. Стало быть, и этого, по-вашему, милостивый государь, разумению, для меня достаточно? – вдруг обратился он ко мне.

Делать было нечего. Я вынул из кармана двугривенный (по таксе) и положил на стол, откуда он в одно мгновение и исчез в карман старца.

– Благодарю вас, господин. Маловато, но я не притеснителен... Итак, я сластолюбив и потому имею вкус к лакомствам вообще и к девочкам в особенности. Есть у них, знаете...

Старик поперхнулся, и все нутро его вдруг заколыхалось. Мы замерли в ожидании одного из тех пароксизмов восторга, которые иногда овладевают старичками под наитием сладостных представлений, но он ограничился тем, что чихнул. Очевидно, это была единственная форма деятельного отношения к красоте, которая, при его преклонных летах, осталась для него доступною.

– Словом сказать, никак нельзя остерегаться, чтобы рубля или двух в неделю не пожертвовать собственно на предметы сластолюбия. Затем, так как жена удерживает у меня пятнадцать рублей в месяц за прокорм и квартиру (и притом даже, в таком случае, если б я ни разу

не обедал дома), то на так называемые издержки представительства остается никак не больше пяти рублей в месяц. Как вы полагаете, милостивый государь, может ли удовлетвориться этим благородный человек, особливо в виду установившегося обычая, в силу которого все вольнонаемные редакторы раз в месяц устраивают в трактире "Старый Пекин", обед, в ознаменование чудесного избавления от множества угрожавших им в течение месяца опасностей?

– Конечно, нет; но ведь супруга ваша, как содержательница гласной кассы ссуд, могла бы и не требовать с вас платы за содержание? – возразил Балалайкин.

– Что касается до того, куда жена моя употребляет свои средства, – об этом речь впереди. Теперь же скажу, что супружество, в том виде, в каком я оным пользуюсь, налагает на меня лишь очень нелегкие обязанности, а прав не дает. Но этого мало, милостивые государи! Не имея никакого влияния на направление редактируемой мною газеты, я тем не менее ощущаю на себе все невзгоды, ее постигающие. Так, например, когда, по настоянию г. Малафеева, последовало в нашем издании изъяснение турецкой конституции и за сие газета вынуждена была потерпеть ущерб, то и я был подвергнут вычету из жалованья в размере пятнадцати копеек в сутки. Можете судить сами, какое нравственное потрясение должна была произвести во мне эта катастрофа, не говоря уже о неоплатном долге в три рубля пятьдесят копеек, в который я с тех пор погряз и о возврате которого жена моя ежедневно настаивает...

Но едва произнес он эти слова, как Глумов, движимый великодушием, вынул из кармана три с полтиной и положил их на стол.

– Благодарю вас, достойный молодой человек! благодарю тем больше, что, имея право за эти деньги поступить со мною по таксе, вы великодушно не воспользовались этим правом! Но возвращаюсь к рассказу. Из всего вышеизложенного вы, конечно, изволили убедиться, милостивые государи, что положение редактора газеты по вольному найму вовсе не таково, чтобы возбудить в ком-либо зависть. Поэтому вы не удивитесь, если я, в видах восполнения, решаюсь, даже с опасностью жизни, прибегать к некоторым побочным средствам, которые помогают мне иметь приличную редакторскому званию одежду и удовлетворять издержкам представительства. Эти побочные средства – вот они.

Он хлопнул довольно грязной рукой по правой щеке, и – о, чудо! – такса, которую мы до сих пор видели лишь мысленными очами (только однажды я мельком усмотрел один параграф ее), вдруг засветилась, так что мы совершенно явственно прочитали:

Такса

За словесное оскорбление укоризною в недостатке благовоспитанности и неимении христианских правил... 20 к.

То же, с упоминанием о родителях..... 50"

То же, с поднятием руки, но без нанесения..... 75"

За щелчок по носу или мазок по губам..... 1 р. -

Простая оплеуха..... 1 " 50"

Оплеуха, ежели при оной получается ощущение перстней..... 1 " 75"

За нанесение по лицу удара рукой с раскраснением или рассечением какой-либо части одного (носа, бровей, губ и проч.) 3 " –"

То же, сапогом..... 3 " 50"

За вымазание лица дегтем, салом, тестом и т. п. 4 " –"

То же, веществами, коих вывоз в дневное время воспрещается..... 5 " –"

За окормление припасами, производящими тошноту 6 " –"

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| За высечение розгами, наедине, до 20-ти ударов и менее..... | 10 " –" |
| За каждый удар, сверх 20-ти, по..... | 1 " –" |
| То же, при благородных свидетелях..... | 20 " –" |
| За каждый удар, сверх 20-ти, по..... | 2 " –" |
| " перелом ребра..... | 30 " –" |
| " удар по голове с проломом оной..... | 50 " –" |

Примечание 1-е. Оскорбления кнутом, кошками, поленом или подворотнею не допускаются вовсе.

Примечание 2-е. Равным образом воспрещаются: выколотие глаза, откушение носа, отсечение руки или ноги, отнятие головы и проч. За все таковые повреждения вознаграждение определяется по суду, по произнесении обвинительных и защитительных речей, после чего присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату и выносят обвиняемому оправдательный приговор.

– Кажется, такса не обременительная? – обратился он к нам, когда убедился, что мы имели время обдумать прочитанное.

– Не только не обременительная, – поспешил я успокоить его, – но даже, если можно так выразиться, соблазнительно умеренная. Помилуйте! выполнение по всей таксе стоит всего сто тридцать семь рублей двадцать копеек, а мало ли на свете богатых людей, которым ничего не стоит бросить такие деньги, лишь бы доставить себе удовольствие!

– И бывали такие особы! – сказал он с гордостью, и вслед за тем с горечью присовокупил: – Бывали-с... в то время, когда наш рубль еще пользовался доверием на заграничных рынках!

– Но, вероятно, и такса ваша в то время была соразмерно дешевле?

– В том-то и дело, что нет, милостивый государь! Увы! готовность получать оскорбления с каждым днем все больше и больше увеличивается, а предложение оскорблений, напротив того, в такой же пропорции уменьшается!

– Но, во всяком случае, если вы позволите, я... И я немедленно укорил его в неимении христианских правил и положил на стол двугривенный.

– Что касается до меня, – присовокупил Глумов, соревнуя мне, – то я нахожу, что в вашей таксе всего поразительнее – это строгая постепенность вознаграждений. А потому, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, как бы я упомянул об них. При чем прилагаю полтинник.

Затем Балалайкин, с своей стороны, замахнулся (но без нанесения) и отсчитал три четвертака. И таким образом, меньше чем в минуту, без всяких беспокойств, добрый старик получил рубль сорок пять копеек серебром и вследствие этого совершенно воспрянул духом.

– Ну-с! смотрите-ка теперь вот эту штучку! – весело сказал он, очевидно, не желая оставаться у нас в долгу за причиненное одолжение.

Он щелкнул себя по левой щеке, и мы с новым изумлением увидели, что и на ней мгновенно начали выступать печатные строки, так что через минуту мы уже могли прочесть следующее курьезное объявление:

КРАСА ДЕМИДРОНА

"Газета ассенизационно-любоэрастная, выходящая в дни публичных драк.

Давно уже чувствуется в нашей публике потребность в обстоятельных сведениях о происходящих в здешней столице драках, а между тем органа,

который удовлетворял бы таковому справедливому во всех отношениях желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими размышлениями. Вознамерившись пополнить этот пробел, мы предприняли наше издание в надежде, что публика оценит наши труды и не пожалеет каких-нибудь трех рублей в год, за которые получит чтение достаточно разнообразное и притом чуждое всяких посягательств на потрясение чего бы то ни было. Мы не исчисляем здесь имен наших сотрудников, но объявляем с понятною гордостью, что большинство наших литературных деятелей обещало нам свое благосклонное содействие, а знаменитый г. Зет даже обязался исключительно помещать у нас распутные труды свои. Равным образом, мы не задаемся никакими широкими или утопическими задачами, а будем преследовать одну цель: угождение читательской утробы. В этих видах газета наша доставит обильное и разнообразное чтение по нижеследующим отделам:

1) Сведения о драках в публичных местах, с подробным изложением всех перипетий от начала до окончательной развязки. На места драк будут на счет газеты командированы талантливейшие из наших репортеров.

2) Литературно-лакейское обозрение всего происходящего в Демидовой саду и в балаганах Егарева и Малафеева. Отделом этим будет заведывать г. Зет.

3) Адресы наилучших кокоток, с краткими их биографиями и с изложением приличествующих сведений. Изложение сие мы, конечно, будем делать с соблюдением требуемой приличиями тайны, но так как контора редакции открыта для желающих ежедневно от 2-х до 4-х часов пополудни, то в ней все необходимые разъяснения могут быть даны за самое умеренное вознаграждение.

4) Прогулка по трактирным заведениям, с изложением цен на кушанья и напитки, указанием на особенно замечательные предметы гастрономии и увековечением имен расторопнейших половых и гарсонов. Само собой разумеется, что особенное внимание будет обращено на те трактиры, содержатели коих обяжутся вносить за сие в редакцию определенное вознаграждение, хотя бы в кухнях их и не было соблюдено надлежащей опрятности.

и 5) Разное. Анекдоты, острые слова, афоризмы, куплеты, ложные слухи, употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней и проч.

Сроками выхода мы себя не стесняем, но так как в драках недостатка не бывает, то читатели могут быть уверены, что газета наша будет появляться чаще, нежели нужно.

Редактор по найму: Иван Иванов Очищенный,
бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещицьею властью, а впоследствии тапер".

Я не успел еще дочитать объявления до конца, как Глумов уже тискал благородного отца в своих объятиях.

– Иван Иваныч! да ведь это ты! ты! ты! ты! – восклицал он в неопisanном восхищении.

V

Итак, загадка разъяснилась: перед нами стоял бывший Кубарихин тапер, свидетель игр нашей молодости! Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописанное волнение, когда мы неопровержимыми фактами доказали, что никакое *alibi*⁹ в настоящем случае немыслимо.

– "Чижик, чижик! где ты был?" – помнишь? – допрашивал Глумов.

– Помню! – ответил он, тщетно усиливаясь сообщить твердость дрогнувшему голосу.

– А помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоящую на воспламеняющих веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел! – припомнил и я с своей стороны.

– Помню!

– А помнишь ли...

Словом сказать, припомнили такую массу забавных и вполне культурных шуток, что у старика даже волосы дыбом встали.

– Тогда еще у меня таксы-то этой не было! – сказал он, но на этот раз так благодушно, что не укоризна слышалась в его голосе, а скорее благодарное воспоминание о шалостях, свойственных юношам, получившим образование в высших учебных заведениях.

– Иван Иваныч! Как ты вырос! похорошел! – тормошил его Глумов.

– И как отлично одет! – присовокупил я, – точно собираешься в первый раз показать свою дочь на бале у Кессених!

Но последние слова словно обожгли его. Он грустно взглянул на нас, и крупные слезы полились из его глаз, постепенно подмачивая объявление об издании газеты "Краса Демидрона".

– Друзья! не растравляйте старых, но не заживших еще ран! – обратился он к нам совершенно растроганный, – дочь, о которой вы говорите, дочь, которая была украшением балов Марцинкевича, – ее уже нет! И моей милой, беленькой Амалии, которая угощала вас, господин Глумов, шамандкухеном, и ее уже нет! Всех, всех пережило это бедное, старое сердце... и не разбилось! О, это было хорошее, светлое, счастливое время, несмотря на то, что я тогда носил фрак, перешитый из вицмундира, оставшегося после титулярного советника Поприщина!

– Но теперь... разве ты несчастлив?

– О, теперь!!! теперь – я только тень того веселого Ивана Иваныча, которого вы когда-то знавали в этой самой квартире! Хотя же, по-наружности, я и имею вид благородного отца, но, в сущности, я – тапер более, нежели когда-либо!

– Но отчего же ты помолодел?

– Такова воля провидения, которое невидимо утучняет меня, дабы хотя отчасти вознаградить за претерпеваемые страдания. Ибо, спрашиваю я вас по совести, какое может быть страдание горше этого: жить в постоянном соприкосновении с гласною кассою ссуд и в то же время получать не более двадцати пяти рублей в месяц, уплачивая из них же около двадцати на свое иждивение?

– Послушай, Ваня! да неужели же беленькая, маленькая Мальхен до того переродилась, что сделалась содержательницей гласной кассы ссуд?

– Мальхен – никогда! Мальхен смотрит теперь с небеси – и ничего не видит! А содержательница гласной кассы ссуд – это Матрена Ивановна!

– Так ты, значит, женился в другой раз? Да расскажи же, братец, расскажи!

⁹ Неприкосновенность к делу.

– Это тяжелая и скорбная история, которую я, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезное угощение. И если вы желаете назначить мне день и час в "Старом Пекине" или в гостинице "Москва", то я – готов!

– Но отчего ж не теперь? – прервал Балалайкин, вдруг проникшийся чувством великодушия, – по счастливой случайности, я сегодня совершенно свободен от хождения, а что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь "Пекин"!

И мы и Очищенный охотно согласились. Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом.

– Рекомендую! – пригласил нас Балалайкин, – вот эта икра презентована мне Вьюшиным за поздравление его с днем ангела, а этот балык прислан прямо из Кокана бывшим мятежным ханом Наср-Эддином за то, что я подыскал ему невесту. Хотите, я прочту вам его рескрипт?

– Ах, сделайте милость!

– Я всегда держу его в кармане как свидетельство, что все поручения исполняются мною без обмана. Вот этот рескрипт!

Копия

"Достопочтенному, могущественному и милостивому господину аблакату Балалайке, в Питембурхи.

Свет очей моих, господин аблакат Балалайка!

Докладываю вам, что присланную при письме девицу Людмилу мы в сохранности получили, и все, что, по описи, той девице принадлежит – все оное оказалось исправно. И пишете вы нам, что она Людмила есть дочь киевского князя Светозара, а в плакате значится: дочь фейерверкера. И для нас это все единственно, а так только к слову о сем упоминаем, что обманули вы нас. А, впрочем, с тех пор, как мы после поражения наших войск под Махрамом в верное подданство России перешли и под власть капитан-исправника Сидора Кондратьича подведены, в первый раз, по милости оной девицы Людмилы, восчувствовали, что и горесть не без утешения бывает. И за все то ваше одолжение и причиненную нам радость жалуем вам тартун (приношение): один глиняный кувшин воды и балык весом двадцать фунтов. Ах, отменна балык!

Засим, да спасет вас Аллах, а я того желаю.

Бывший мятежный, а ныне верный господина моего Сидора Кондратьича слуга Сеид-Махомед-Наср-Эддин, лже-хан".

– Зачем же он воды-то кувшин прислал? – полюбопытствовал я.

– А у них вода в редкость – вот он и вообразил, что и невеста как мне этим угодит. Хотите, я и кувшин покажу?

– Пожалуйста!

Принесли кувшин, осмотрели. Кувшин как кувшин, только сырой глиной воняет.

– Да, господа, немало-таки было у меня возни с этим ханом! – сказал Балалайкин, – трех невест в течение двух месяцев ему переслал – и все мало! Теперь четвертую подыскиваю!

– Осмелюсь вам доложить, – предложил Очищенный, – есть у меня на примете девица одна, которая в отъезд согласна... ах, хороша девица!

– Прекрасно-с, будем иметь в виду. Однако, признаюсь вам, и без того отбою мне от этих невест нет. Каждое утро весь Фонарный переулок так и ломится в дверь. Даже молодые люди приходят – право! звонок за звонком.

– Странно, однако ж, что за все эти хлопоты он вас балыком да кувшином воды отблагодарил! – удивился Глумов.

– *Que voulez-vous, mon cher!*¹⁰ Эти ханы... нет в мире существ неблагодарнее их! Впрочем, он мне еще пару шакалов прислал, да черта ли в них! Позабавился несколько дней, поездил на них по Невскому, да и отдал Росту в зоологический сад. Главное дело, завывают как-то – ну, и кучера искушали. И представьте себе, кроме бифштеков, ничего не едят, каналы! И непременно, чтоб из кухмистерской Завитаева – извольте-ка отсюда на Пески три раза в день посылать!

– Тсс...

– А вот эти кильки... это достопримечательность! Я их сам, собственными руками, прошлым летом ловил. Вы знаете, ведь я, было, в политике попался... как же! да! Ну, и надобно было за границу удирать. Нанял я, знаете, живым манером, чухонца: айда, мина нуси, сколько, шельма белоглазая, возмешь Балтийское море переплыть? Взял он с меня тысячу рублей денег да водки ведро, уложил меня на дно лодки, прикрыл рогожкой – валяй по всем по трем! Только как к острову Готланду стали подъезжать – тогда выпустил. Тут-то я и ловил кильку, покуда не обнаружилось, что вся эта история – одно недоразумение. Да, господа, испытал я в то время! Как ни хорошо за границей, а все-таки с милой родиной расставаться тяжело! Ехали мы, знаете, мимо Кронштадта – с одной стороны Кронштадт, с другой Свеаборг – а я лежу и думаю: вдруг выпалит? Ведь броненосцев пробивает – а мы... что такое мы?!

– Не выпалил?

– Нет, зазевались. Помилуйте! броненосцев пропускает, а наша лодка... представьте себе, ореховая скорлупа – вот какая у нас была лодка! И вдобавок поминутно открывается течь! А впрочем, я тогда воспользовался, поездил-таки по Европе! В Женеве был – часы купил, а потом проехал в Париж – такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел – пальчики оближете!

При упоминании о карточках Очищенный сладострастно зачавкал губами.

– Мне бы... – промолвил он, собираясь чихнуть.

– Покажу-с! я вам, господа, все покажу, все мои коллекции! Такие карточки есть, что даже постичь невозможно – *parole d'honneur!*¹¹ Позвольте, что там еще такое? ба! кажется, семга? Обращаю ваше внимание на нее, *messieurs!* Эту самую семгу Немирович-Данченко собственными руками изловил! Мы с ним вместе в Соловках были, пиво-мед пили, по усам текло, в рот не попало – так вот он, на память связывающих нас уз, изловил и прислал! Теперь от нее только хвост остался; но удивительный! Немирович предиковинные анекдоты об этой семге рассказывает. Уморительная, говорит, рыба! и умна... совсем как человек! Сидишь этак на берегу моря, разложишь костер, вскипятишь в котелке воду, и кликнешь: иси! Ну, она видит, что ее-то именно и недостает, чтоб вышла ухасейчас сама, живая, и приплывет! Клянусь! Хотите, я вас с Немировичем познакомлю?

– Непременно! Хотим! хотим!

– На днях ваше желание будет выполнено. А вот эти фиги мне Эюб-паша презентовал... Теперь, впрочем, не следовало бы об этом говорить – война! – ну, да ведь вы меня не выдадите! Да вы попробуйте-ка! аромат-то какой!

– Эюб-то за что же вам подарки делает?

– А я тут ему одно сведеньице в дипломатических сферах выведал... так, пустячки!

¹⁰ Что вы хотите, дорогой мой!

¹¹ Честное слово!

– Балалайкин! пощадите! ведь вы себя в измене отечеству обличаете! – воскликнули мы в ужасе.

– Ah, mais entendons-nous!¹² Я, действительно, сведеньице для него выведал, но он через это самое сведеньице сражение потерял – помните, в том ущелий, как бишь его?.. Нет, господа! я ведь в этих делах осторожен! А он мне между прочим презент! Однако я его и тогда предупреджал. Ну, куда ты, говорю, лезешь, скажи на милость! ведь если ты проиграешь сражение – тебя турки судить будут, а если выиграешь – образованная Европа судить будет! Подавай-ка лучше в отставку!

– Не послушался?

– Не послушался – и проиграл! А жаль Эюба, до слез жаль! Лихой малый и даже на турку совсем не похож! Я с ним вместе в баню ходил – совсем, как есть, человек! только тело голубое, совершенно как наши жандармы в прежней форме до преобразования!

Балалайкин на минуту задумался, как бы захлебнувшись. Очевидно, лганье плыло на него с такой быстротой, что он не успевал справиться с массами непрерывно вырабатывающегося материала.

– Да, господа, много-таки я в своей жизни перипетий испытал! – начал он вновь. – В Березов сослан был, пробовал картошку там акклиматизировать – не выросла! Но зато много и радостей изведаль! Например, восход солнца на берегах Ледовитого океана – это что же такое! Представьте себе, в одно и то же время и восходит, и заходит – где это увидите? Оттого там никто и не спит. Зимой спят, а летом тюленей ловят!

– Желал бы я знать, тюленье мясо – приятно оно на вкус? – полюбопытствовал Очищенный.

– Мылом отдает, а, впрочем, мы с Немировичем ели. Немирович, Латкин и я. Там, батюшка, летом семьдесят три градуса морозу бывает, а зимой – это что ж! Так тут и тюленине будешь рад. Я однажды там нос отморозил; высморкался – смотрю, ан нос в руке!

– Ах, черт поberi!

– Да, батюшка. К счастью, я сейчас же нашелся: взял тепленького тюленьего маслица, помазал, приставил – и вот как видите!

Он предложил нам освидетельствовать свой нос: действительно, нельзя было даже заподозрить, чтоб тут когда-нибудь пустое место было.

– Всего я испытал! и на золотых приисках был; такие, я вам скажу, самородки находил, что за один мне разом пять лет каторги сбавили. Теперь он в горном институте, в музее, лежит.

– Гм... да? А скажите, пожалуйста, слыхивал я, что на приисках рабочие это самое золото очень искусно скрывают. Возьмет будто бы иной золотничок или два песочку и так спрячет, что никакими то есть средствами... Правда ли это?

– Не по золотничку, а фунтов по пяти разом прячут – вот я вам как скажу! Я сам... да что тут! вы думаете, состояние-то мы откуда? Обстановка эта и все?..

– Неужто?

– Все оттуда! там всему начало положено, там-с! Отыскивая для мятежных ханов невест, не много наживешь! Черта с два – наживешь тут! Там все, и связи мои все там начались! Я теперь у всех золотопромышленников по всем делам поверенным состою: женам шляпки покупаю, мужьям – прически. Считите, сколько я за это одного жалованья получаю? А рябчики сибирские? а нельма? – это не в счет! Мне намеренсь купец Трапезников мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал – хотите, покажу?

– Ах, сделайте ваше одолжение!

– И покажу, если, впрочем, в зоологический сад не отдал. У меня денег пропасть, на сто лет хватит. В прошлом году я в Ниццу ездил – смотрю, на горе у самого въезда замок

¹² Ах, но мы договоримся!

Одиффре стоит. Спрашиваю: что стоит? – миллион двести тысяч! Делать нечего, вынул из кармана деньги и отсчитал!

– Ах, господи!

Очищенный не выдержал: встал с кресла и перекрестился.

– Видал я, господин Балалайкин! даже очень часто видал! – сказал он, – но, признаюсь...

– Я в Ницце двадцать лет жил, так все даже удивлялись. Оркестр у меня был, концерты по пятницам...

Балалайкин постепенно вошел в такой экстаз, что пена у него показалась у рта. Тяжело становилось.

– Скажите, Балалайкин, как вам приходится покойный Репетилов? – спросил я, чтобы как-нибудь разредить атмосферу лганья.

– Репетилов? мне? Помилуйте! да он меня от купели воспринимал! Но, кроме того, и еще чем-то приходится. Наш род очень древний! Мы – пронские – Прокопа Ляпунова помните? – ну, так мы все по женской линии от него. Молчалины, Репетиловы, Балалайкины, Фамусовы – все! А Чацкий Александр Андреич – тот на границе с скопинским уездом!

– А знаете ли, Балалайкин, что про вас, пронских, дурная слава идет?

– Это что лгуны-то мы, что ли? Да, нечего сказать, любят-таки мои соотечественники поврать! Представьте себе, на днях какой случай был. Приезжает ко мне один компатриот: знаешь ли, говорит, что твоя родительница опять к Илюшке Соколову в табор сбежала?¹³ Натурально, сейчас же телеграмму в триста тридцать слов к Загорецкому: так и так, нельзя ли предотвратить? И что ж! ровно через год получаю ответ: помилуй, сердечный друг! твоя родительница вот уже третий год, как без ног в Пронске на постоялом дворе лежит! Нет, вы мне скажите, зачем он мне солгал? Взбудоражил, заставил горячку пороть? а?

Беседуя таким образом, мы и не заметили, как съели и выпили все, что находилось на подносах. Наконец Глумов первый опомнился.

– А ведь мы сели совсем не с тем, чтобы пронское вранье слушать, – сказал он. – Иван Иванович! ты, кажется, нам историю своих превращений обещал?

– Я готов!

– Так вот что, Балалайкин! велите-ка вы нам подать тех сигар, которые вам гаванский губернатор за лжесвидетельство прислал, да ликерцу того, который вам подарил Эрбер за написание объявления о распродаже вин и ликеров! – без церемонии распорядился Глумов.

Мы перешли в кабинет Балалайкина, и хотя он умолял нас прежде всего просмотреть приобретенную им в Париже коллекцию фотографических картинок, но мы переломили себя и отложили это благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, покуривая удивительнейшие "non plus ultra"¹⁴ и имея перед собой рюмки с душистым ликером des îles¹⁵, мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Демидрона».

– Рассказывай-ка, Иван Иванович, рассказывай, брат! – молвил Глумов, усаживаясь поудобнее в кресло и зажмуривая глаза.

Очищенный начал.

¹³ Для уразумения этого необходимо напомнить читателю, что Балалайкин-сын известной когда-то в Москве цыганки Стешки, бывшей, до выхода в замужество за провинциального секретаря Балалайкина, в интимных отношениях с Репетиловым, вследствие чего Балалайкин и говорит что Репетилов ему «кроме того, еще чем-то приходится» (см «Эксперсии в область умеренности и аккуратности»). (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

¹⁴ Высшего качества.

¹⁵ С островов.

VI

"Я – отпрыск старинного дворянского рода, и настоящая, коренная моя фамилия – Гадюк. Очищенными же мы стали зваться недавно, по одному особенному случаю, о котором я упомяну в своем месте.

Насчет происхождения моих предков существуют два сказания: одно, мало достоверное, принадлежит маститому историку из Москвы, другое, еще менее достоверное, сложилось здесь, в Петербурге.

Маститый московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был-де новгородский "благонамеренный человек" (а по другим источникам, "вор"), Добромысл Гадюк, который прежде других возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил на вече прочим новгородским обывателям. "С незапамятных времен, – сказал он, – варяги учат нас уму-разуму: жгут города и села, грабят имущества, мужей убивают, жен насилюют, но и за всем тем ни ума, ни разума у нас нет. Как вы, други милые, полагаете, отчего?" Но так как новгородцы, вместо ответа, только почесали в затылках, то Гадюк продолжал: "А я так знаю отчего. Оттого, други милые, что хоть и учат нас варяги уму-разуму, но методы правильной у них нет. Грабят – не чередом, убивают – не ко времени, насилюют – не по закону. Ну, и выходит, что мы ихней науки не понимаем, а они растолковать ее нам не могут или не хотят. Так ли я, братцы, говорю?" Дрогнули сердца новгородцев, однако поняли вольные вечевые люди, что Гадюк говорит правду, и в один голос воскликнули: "Так!" – "Так вот что я надумал: пошлемте-ка мы к варягам ходоков и велим сказать: господа варяги! чем набегом-то нас разорять, разорайте вплотную: грабьте имущества, жгите города, насилюйте жен, но только, чтоб делалось у нас все это на предбудущее время... по закону! Так ли я говорю?" Опять дрогнули сердца новгородцев, но так как гадюкова правда была всем видима, то и опять все единогласно воскликнули: "так!" Тогда выступил вперед старейшина Гостомысл и спросил: "А почему ты, благонамеренный человек Гадюк, полагаешь, что быть ограбленным по закону лучше, нежели без закона?" На что Гадюк ответил кратко: "Как же возможно! по закону или без закона! по закону, всем ведомо – лучше!" И подивились новгородцы гадюковой мудрости и порешили: призвать варягов и предоставить им города жечь, имущества грабить, жен насиловать – по закону!

Сказано – сделано. Прибыли из-за моря три князя: Рюрик – в Новгород, Синеус – в Ладогу, Трувор – в Изборск. Приехали и легли с дороги спать. Только спят они и видят во сне все трое один и тот же ряд картин, прообразующих будущие судьбы их нового отечества. Сначала удельный период – князья жгут; потом татарский период – татары жгут; потом московский период – жгут, в реке топят и в синодики записывают; потом самозванщина – жгут, кресты целуют, бороды друг у дружки по волоску выщипывают; потом лейб-кампанский период – жгут, быют кнутом, отрезают языки, раздают мужиков и пьют венгерское; потом наказ наместникам "како в благопотребное время на законы наступать надлежит"; потом учреждение губернских правлений "како таковым благопотребным на закон наступаниям приличное в законах же оправдание находить", а, наконец, и появление прокуроров "како без надобности в сети уловлять". Вскочили три брата в смущении великом и не знают, как быть. Думают: а что, коли ежели из-за нас вся эта программа да выполнится? И стали они тосковать. Первый затосковал Синеус в Ладоге – и утопился в озере; второй затосковал Трувор в Изборске – и повесился на вожжах. Рюрик же, как имел ум свободный, сразу принять напрасную смерть не пожелал. Созвал он вече и обратился к нему с следующей речью: "Видел я, господа новгородцы, на новоселье у вас нехороший сон! Будто бы через меня по всей Руси губернские правления пошли, а потом и палаты государственных имуществ... И так меня этот сон расстроил, что уж и не знаю, как с собой благороднее порешить: утопиться или повеситься?" Но новгородцы, видя, что у князя ихнего ум свободный, молчали, а про себя думали: не ровен случай, и с петли

сорвется, и из воды сух выйдет – как тут советовать! Гостомысл же произнес: гм! – и тут же испустил дух. Тогда выступил вперед благонамеренный человек Гадюк и за всех ответил: "А по-моему, ваше сиятельство, если вся эта программа и подлинно впоследствии выполнится, так и тут ни топиться, ни вешаться резону нет!" Задумался Рюрик; по нраву пришлось ему гадюковы слова; но, с другой стороны, думается: удельный период, московский период, татарский период... нехорошо! Как бы так устроить, чтобы всю вину на самих новгородцев свалить? "Помилуй, братец, – говорит, – ведь во всех учебниках будет записано: вот какие дела через Рюрика пошли! школяры во всех учебных заведениях будут долбить: обещался-де Рюрик по закону грабить, а вон что вышло!" – "А наплевать! пускай их долбят! – настаивал благонамеренный человек Гадюк, – вы, ваше сиятельство, только бразды покрепче держите, и будьте уверены; что через тысячу лет на этом самом месте..." Тогда Рюрик совсем уже повеселел: "Видел я и это во сне, – прервал он Гадюка, – даже художника Микешина видел, но, по скромности, о сем умолчал. Так как же, господа новгородцы? По-вашему, стало быть, наплевать?" – "Наплевать!" – повторил Гадюк. И опять подивились новгородцы гадюковой мудрости и в один голос воскликнули: "Так! наплевать!" Рюрик же, натянув бразды, сказал: ин быть по-вашему! и начал действовать – по закону!"

– Так вот каков был мой первый достоверный предок! – заключил Очищенный, оглядывая нас торжествующим взглядом и на минуту прерывая рассказ, дабы удостовериться, какое впечатление произвела на нас его генеалогия.

Впечатление это было разнообразное. Балалайкин – поверил сразу и был так польщен, что у него в гостях находится человек столь несомненно древней высокопоставленности, что, в знак почтительной преданности, распорядился подать шампанского. Глумов, по обыкновению своему, отнесся равнодушно и даже, пожалуй, скептически. Но я... я припоминал! Что-то такое было! – говорил я себе. Где-то в прошлом, на школьной скамье... было, именно было!

– Глумов! не помнишь ли? – обратился я к моему другу.

Не успел я произнести эти слова... и вдруг вспомнил! Да, это оно, оно самое! Помилуйте! ведь еще в школе меня и моих товарищей по классу сочинение заставляли писать на тему: "Вещий сон Рюрика"... о, господи!

– Глумов! да неужто же ты не помнишь? еще мы с тобой соперничали: ты утверждал, что вече происходило при солнечном восходе, а я – что при солнечном закате? А "крутые берега Волхова, медленно катившего мутные волны..." помнишь? А "золотой Рюриков шелом, на котором, играя, преломлялись лучи солнца"? Еще Аверкиев, изображая смерть Гостомысла, написал: "слезы тихо струились по челу его..." – неужто не помнишь?

В виду столь ясных указаний Глумов мгновенно преобразился. Сладко нам было, отрадно. Под влиянием наплыва чувств мы оба вскочили с мест и поцеловались.

– Помню! все помню! И "шелом Рюрика", и "слезы, струившиеся по челу Гостомысла"... помню! помню! помню! – твердил Глумов в восхищении. – Только, брат, вот что: не из Марфы ли это Посадницы было?

– Помилуй, душа моя! именно из "Рюрикова вещего сна"! Мне впоследствии сам маститый историк всю эту проделку рассказывал... он по источникам ее проштудировал! Он, братец, даже с Оффенбахом списывался: нельзя ли, мол, на этот сюжет оперетку сочинить? И если бы смерть не пресекла дней его в самом разгаре подъятых трудов...

– А что ты думаешь! ведь сюжет для оперетки – хоть куда!

– Это, мой друг, такой сюжет! такой сюжет! Если б только растолковать Оффенбаху как следует! Представь себе, например, хор помпадуров, или хор капитан-исправников! или хор судебных следователей по особенно важным делам! Ведь это что такое!

– Отлично – что и говорить! Да, брат, изумительный был человек этот маститый историк: и науку и свистопляску – все понимал! А историю русскую как знал – даже поверить трудно! Начнет, бывало, рассказывать, как Мстиславы с Ростиславами дрались, – ну, точно сам оче-

видцем был! И что в нем особенно дорого было: ни на чью сторону не норовил! Мне, говорит, все одно: Мстислав ли Ростислава, или Ростислав Мстислава побил, потому что для меня что историей заниматься, что бирюльки таскать – все единственно!

– Да ведь, в сущности, оно...

Словом сказать, мы бы, наверное, увлеклись воспоминаниями, если б Очищенный не напомнил, что ему предстоит еще многое рассказать. Исполнивши это, он продолжал:

"Другое сказание насчет происхождения моих предков сложилось на лоне той сыскной исторической школы, которая хотя и имеет своим родоначальником Бартенева из Москвы, но развилась и настоящим образом возмужала здесь, в Петербурге. Сказание это гласит кратко: первый Гадюк был выходец из Орды, который, по распоряжению начальства, познал истинного бога, причем восприемниками были: генерал-майор Отчаянный и княжна Вертихвостова. Впрочем, мемуары последней уже предоставлены потомками ее в распоряжение "Русской старины" и, без сомнения, прольют свет на это замечательное происшествие.

Я не буду говорить о том, которое из этих двух сказаний более лестно для моего самолюбия: и то и другое не помешали мне сделаться вольнонаемным редактором "Красы Демидрона". Да и не затем я повел речь о предках, чтобы хвастаться перед вами, – у каждого из вас самих, наверное, сзади, по крайней мере, по Рееде сидит, а только затем, чтобы наглядно показать, к каким полезным и в то же время неожиданным результатам могут приводить достоверные исследования о родопроисхождении Гадюков.

Затем, относительно позднейших моих предков, и Москва и Петербург во всем между собою согласны. Одним из них выщипывали бороды, другим – рвали ноздри, третьих – били кнутом нещадно. Некоторые, однако ж, уцелели и были жалованы деревнями, где, в свою очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри и били нещадно кнутом. Словом сказать, в моем роде все шло обыкновенным генеалогическим порядком, как и у всех вообще Гадюков, "от хладных финских скал до пламенной Колхиды". Но в первой половине прошлого столетия, в царствование Елисаветы, случилось нечто особенное. Прадед мой, штабс-капитан Прокофий Гадюк, будучи в пьяном виде, изменные речи говорил, а сын его, Артамон, не только о сем не умолчал, но, с представлением ясных отцовской измены доказательств, донес по начальству. Вследствие такового любезно-верного поступка, Прокофий, по наказанию кнутом и урезании языка, был сослан в заточение в Березов, Артамону же было предоставлено: упразднив прежнее прозвище "Гадюк", яко омраченное изменою, впредь именоваться Очищенным. Так вот откуда происходит фамилия Очищенных, а совсем не от водки одного с нею наименования.

Очищенные свили себе гнездо в Лебедянском уезде, интеллигенция которого исстари славилась гостеприимством и склонностью к игре краплеными картами, чему в особенности содействовали: существование в городе Лебедяни ярмарки и близость Липецких минеральных вод. Натурально, и отец мой не мог противостоять общему настроению умов. Фортуна благоприятствовала ему. Долгое время наш дом стоял на такой высоте, что даже в таких отдаленных уголках Тамбовской губернии, каковы уезды Елатомский и Шацкий, – и там гордились Очищенными. Тем не менее я должен сознаться, что в 1830 году мой отец скончался, получив удар подсвечником в висок и прожив предварительно все свое состояние, за исключением тридцати душ, на долю которых и выпала обязанность лелеять мою молодость.

Мне было тогда двадцать лет, и я служил юнкером в Белобородовском гусарском полку..."

Очищенный поник головой и умолк. Мысль, что он в 1830 году остался сиротой, видимо, подавляла его. Слез, правда, не было видно, но в губах замечалось нервное подергивание, как у человека, которому инстинкт подсказывает, что в таких обстоятельствах только рюмка горькой английской может принести облегчение. И действительно, как только желание его было удовлетворено, так тотчас же почтенный старик успокоился и продолжал:

"Воспитание я получил классическое, но без древних языков. В то время взгляд на классицизм был особенный: всякий, кто обнаруживал вкус к женскому полу и притом знал, что Венера инде называется Афродитой, тем самым уже приобретал право на наименование классика. Все же прочее, более серьезное, как-то: "o tempora, o mores!", "sapienti sat", "caveant consules"¹⁶ и т. д., которыми так часто ныне украшаются столбцы «Красы Демидрона», – все это я почерпал уже впоследствии из «Московских ведомостей».

Вслед за отцом последовала в могилу и матушка. Существовать в полку было нечем, и я решился выйти в отставку и поселиться в деревне. Но тридцать душ, даже и в то время, представляли собой только обеспеченный хлеб и квас, а я был настолько избалован классическим воспитанием, что уж не мог управлять своими страстями. Не успел я прожить в имении и пяти лет, как началось следствие, потом суд, а наконец, последовало и решение, в силу которого я отдан был под опеку и въезд в имение был мне воспрещен. Впрочем, это последнее распоряжение оказалось уж лишним, потому что во время этих передрыг имение мое было продано с аукциона за долги.

Как сейчас помню: у меня оставалось в руках только пятьсот рублей ассигнациями. Я вспомнил об отце и поехал в Волхов на ярмарку затем, чтоб пустить мой капитал в оборот. Но, увы! долговременное нахождение под следствием и судом уже подточило мое существование! Мой ум не выказывал изобретательности, а робкое сердце парализовало проворство рук. Деньги мои исчезли, а сам я приведен был моими партнерами в такое состояние, что целых полгода должен был пролежать в городской больнице...

За что?!

После этого я несколько лет существовал исключительно телесными повреждениями. Не скажу, чтоб я терпел нужду, – потребность повреждать ближнего существовала тогда в больших размерах, и за удовлетворение ее платили хорошие деньги – но постоянного, настоящего все-таки не было. Один только раз улыбнулась мне надежда на что-то оседлое – это когда я был определен на должность учителя танцевания в кадетский корпус, но и тут я должен был сделать подлог, то есть скрыть от начальства свою прошлую судимость. Разумеется, подлог обнаружился...

Вас, конечно, удивит это, господа. В настоящее время, когда разрешено множество вопросов первостепенной важности, вместе с ними решен и вопрос о нравственных качествах танцевальных учителей. Наша свободная печать с полной ясностью доказала, что никакая судимость не может препятствовать исполнению тех специальных обязанностей, которые возлагаются на танцмейстеров и таперов, и с тех пор эта истина вошла в общественное сознание. Но в то время смотрели на это строже, и от танцевальных учителей требовали такой же нравственной безупречности, какой ныне требуют только от содержателей кабаков.

Итак, подлог обнаружился, и я должен был оставить государственную службу навсегда. Не будь этого – кто знает, какая перспектива ожидала меня в будущем! Ломоносов был простой рыбак, а умер статским советником! Но так как судьба не допустила меня до высших должностей, то я решился сделаться тапером. В этом звании я узнал мою Мальхен, я узнал вас, господа, и это одно улаживает горечь моих воспоминаний. Вот в этом самом зале, на том самом месте, где ныне стоит рояль господина Балалайкина..."

– Иван Иванович! голубчик! сыграй кадрили из "Чижика"! – не утерпел Глумов, – да, смотри, настоящим манером играй... по-тогдашнему!

– С удовольствием, – согласился добрый старик.

Он сел за фортепьяно и дрожащими руками извлек из клавишей забытый, но все еще дорогой мотив "Чижика". Играл он "по-тогдашнему", без претензий на таперную виртуозность, а так, как обыкновенно играют в благородных семейных домах, где собирается много веселой

¹⁶ «О времена, о нравы!», «мудрому достаточно», «пусть консулы будут на страже».

молодежи, то есть: откинувшись корпусом на спинку кресла и склонивши голову немножко набок. Он и "тогда" именно так играл, очевидно, желая показать "гостям", что хотя он тапер, но в то же время и благородный человек. Мы с Глумовым тоже вспомнили старину и немножко потанцевали.

Выполнивши это, он продолжал:

"С Мальхен я познакомился здесь, у Дарьи Семеновны. Она была скромная девушка, беленькая, но не очень красивая, и потому никто не хотел с нею танцевать. Но я видел, что ей очень хочется танцевать, и однажды, когда гости уж разошлись, подошел к ней и сказал: "Мальхен! будемте танцевать вместе!" И она ответила: "Я согласна".

Это было самое счастливое время моей жизни, потому что у Мальхен оказалось накопленных сто рублей, да, кроме того, Дарья Семеновна подарила ей две серебряные ложки. Нашлись и другие добрые люди: некоторые из гостей – а в этом числе и вы, господин Глумов! – сложились и купили мне готовую пару платья. Мы не роскошествовали, но жили в таком согласии, что через месяц после свадьбы у нас родилась дочь.

Однако ж вскоре случилось событие, которое омрачило наше счастье: скончалась добрая Дарья Семеновна. Вы, конечно, помните, господа, какое потрясающее действие произвела эта безвременная утрата на всех "гостей", но для меня она была вдвойне чувствительна. Я разом потерял и друга, и единственную доходную статью. Однако провидение и на этот раз помогло мне.

Во-первых, у Мальхен опять оказалось накопленных сто рублей; во-вторых, репутация моя как тапера установилась уже настолько прочно, что из всех домов Фонарного переуллка посыпались на меня приглашения. И в то же время я был почтен от квартала секретным поручением по части внутренней политики.

То было время всеобщей экзальтации, и начальство квартала было сильно озабочено потрясением основ, происшедшим по случаю февральской революции. Но где же было удобнее наблюдать за настроением умов, как не в танцклассах? И кто же мог быть в этом деле более компетентным судьей, как не тапер?

Я знаю, что ныне таперами пренебрегают, предпочитая им – в делах внутренней политики – лиц инородческого происхождения. Но, по моему мнению, это неправильно. Тапер, прежде, всего, довольствуется малым вознаграждением (я, например, получал всего десять рублей в месяц и был преддоволен); во-вторых, он не имеет чувства инородческой остервенелости и, в-третьих, он настолько робок, что лишь в крайнем случае решается на выдумку, и, стало быть, не вводит начальство в заблуждение. По крайней мере, я в течение пяти лет заявил лишь о двух пропагандах, да и то потому только, что письмоводитель квартального непременно этого требовал. Напротив того, инородец, получая почти фельдмаршальское содержание, старается показать, что он пользуется оным не даром, и, вследствие этого, ежеминутно угрожает начальству злоумышлениями.

По-моему – это неблагородно!

Повторяю: я не роскошествовал, но был доволен. Но на двенадцатом году моей счастливой супружеской жизни солнце моей жизни вновь омрачилось, и на этот раз – надолго. Сначала бежала Мальхен с шарманщиком, предварительно похитив все мои сбережения, а через год после этого умерла моя дочь. Все рухнуло разом: и привязанности, и надежда на дружескую опору в старости, и сладости любви! Я остался один на один с таперством! Правда, у меня еще оставалось утешение: квартал, по-прежнему, не переставал удостоивать меня своим доверием; но пять лет тому назад и внутренняя политика отошла от меня. Меня нашли недостаточно прозорливым, мало проворным и вообще не отвечающим требованиям времени, и мое место отдали инородцу Кшепшицюльскому..."

– Кшепшицюльскому! но ведь это наш друг! наш карточный партнер! это, наконец, наш руководитель на стезе благонамеренности! – воскликнули мы с Глумовым в один голос.

– Да, это он, – ответил Очищенный, – и он всегда так поступает. Сначала предложит себя в руководителя, потом обыграет по маленькой, и под конец – предаст! Ах, господа, господа! мало вас, должно быть, учили; не знаете вы, как осторожно следует в таких делах поступать!

– Чудак! да чего же нам остерегаться, коли у нас сердца чисты!

– И с чистым сердцем можно иногда неподлежательно возроптать! Доложу вам, однажды при мне в бане такой случай был. Мылся, между прочим, один молодой человек, а тут же, неподалеку, и господин квартальный парился. Ну, в бане, знаете, должностей-то этих не различишь, только молодой-то человек – горячей воды, что ли, не достало – и не воздержись! Так да и перетак; что, мол, это за государство такое, в котором даже вымыться порядком нельзя! Словом сказать, такую пропаганду пустил, что небу стало жарко! И что же! только что он это самое слово вымолвил, смотрит, ан господин квартальный уж и мундиром оброс! В полном парате, как есть, при шпаге и шляпе: извольте, говорит, милостивый государь, повторить! Так как бы вы думали! года с четыре после этого молодой-то человек по судам колотился, все чистоту свою доказывал.

– Фу-ты!

– Оттого-то я и говорю: не всякому знакомству радоваться надлежит. Особенно нынче. Прежде, когда внутренней политикой таперы заведовали, безопаснее было. Потому тапер – ему что! Ежели ему теперича бутылку пива поставить – он и забыл! А ежели и не забыл, так даже того лучше: сам по душе в разговор вступит. Правду, мол, вы, господин, говорите! и то у нас нехорошо, и другое неладно... словом сказать, скверно! да с начальством-то состязаться нам не приходится! Почему не приходится? – а потому, сударь, что начальство средства имеет, и ежели, например... Ну, словом сказать, тихо да смирно – смотришь, ан он и смягчился! Был заблуждающийся, а выпил бутылку-другую – и сам в лоно истинных чувств поступил. И всем приятно: и ему приятно, и начальству, и мне, таперу, хорошо.

– Да ведь и мы, братец, его, Кшепшицольского-то, который уж месяц поим-кормим, да и в табельку малую толику... Должен же он это понимать!

Но Очищенный только скептически покачал головой в ответ.

– Нет у него в сердце признательности, – сказал он, – нет, нет и нет! И самый лучший, относительно его, образ действий – это с лестницы его спустить.

– А за это, ты думаешь, похвалят?

– Ежели протекцию имеете – ничего. С протекцией, я вам доложу, в 1836 году, один молодой человек в женскую купальню вплыл – и тут сошло с рук! Только извиняться на другой день к дамам ездил.

Так мы и порешили: при первом удобном случае спустить Кшепшицольского с лестницы и потом извиниться перед ним. Затем Очищенный продолжал:

"Быть может, я навсегда остался бы исключительно тапером, если б судьба не готовила мне новых испытаний. Объявили волю книгопечатанию. Потребовались вольнонаемные редакторы, а между прочим и содержатель того увеселительного заведения, в котором я имел постоянные вечерние занятия, задумал основать орган для защиты интересов любопытства. Узнавши, что я получил классическое воспитание, он, натурально, обратился ко мне. И, к сожалению, я не только принял его предложение, но и связал себя контрактом.

Но этим мои злоключения не ограничились. Вскоре после того на меня обратила внимание Матрена Ивановна. Я знал ее очень давно – она в свое время была соперницей Дарьи Семеновны по педагогической части – знал за женщину почтенную, удалившуюся от дел с хорошим капиталом и с твердым намерением открыть гласную кассу ссуд. И вдруг, эта самая женщина начинает заговаривать... скажите, кто же своему благополучию не рад!

И вот сижу я однажды в "Эльдорадо", в сторонке, пью пиво, а между прочим и материал для предбудущего нумера газеты собираю – смотрю, присаживается она ко мне. Так и так, говорит, гласную кассу ссуд открыть желаю – одобрите вы меня? – Коли капитал, говорю, имеете,

так с богом! – Капитал, говорит, я имею, только вот у мировых придется разговор вести, а я, как женщина, ничего чередом рассказать не могу! – Так для этого вам, сударыня, необходимо мужчину иметь! – Да, говорит, мужчину!

Только всего промеж нас и было. Осмотрела она меня – кажется, довольна осталась; и я ее осмотрел: вижу, хоть и в летах особа, однако важных изъянов нет. Глаз у ней правый вытек – педагогический случай с одним "гостем" вышел – так ведь для меня не глаза нужны! Пришел я домой и думаю: не чаял, не гадал, а какой, можно сказать, оборот!

Обвенчались, приезжаем из церкви домой, и вдруг встречает нас... "молодой человек"! В халате, как был, одна щека выбрита, другая – в мыле; словом сказать, даже прибрать себя, подлец, не захотел!

С тех пор "молодой человек" неотлучно разделяет наше супружеское счастье. Он проводит время в праздности и обнаруживает склонность к галантерейным вещам. Покуда он сидит дома, Матрена Ивановна обходится со мной хорошо и снисходит к закладчикам. Но по временам он пропадает недели на две и на три и непременно уносит при этом еотовую шубу. Тогда Матрена Ивановна выгоняет меня на розыски и не впускает в квартиру до тех пор, пока "молодого человека" не приведут из участка... конечно, без шубы.

Теперь я именно переживаю один из таких тяжелых моментов. Сегодня утром "молодой человек" скрылся и унес уж не одну, а две шубы. И я, вследствие этого, вижу себя на неопределенное время лишенным крова...

Такова правда моей жизни".

VII

Глумов, который всегда действовал порывами, не воздержался и тут. Не успел Очищенный кончить повесть своей жизни, как он уже восклицал:

– Иван Иванович! да поселись у нас! Тебе что нужно? Щей тарелку? – есть! водки рюмку? – найдется.

– А ежели, по обстоятельствам ваших дел, потребуются для вас лжесвидетели, то вы во всякое время найдете их здесь... и безвозмездно! – с своей стороны свеликодушничал Бала-лайкин.

– Господа! заключимте четверной союз! – в восторге отозвался и я, едва поспевая следить за общим потоком великодушных порывов.

Как ни крепился добрый старик, но, ввиду столь единодушного выражения симпатий, не удержался и заплакал. Мы взяли друг друга за руки и поклялись неизменно идти рука в руку, поддерживая и укрепляя друг друга на стезе благонамеренности. И клятва наша была столь искрення, что когда последнее слово ее было произнесено, то комната немедленно наполнилась запахом скотопригонного двора.

– Надобно тебе сказать, голубчик Иван Иванович, – счел долгом объясниться Глумов за себя и за меня, – что нам твоя поддержка в особенности драгоценна. Либералы, братец, мы. Ведрышко на дворе – мы радуемся, дождичек на дворе – мы и в нем милость божию усматриваем. И всякий предмет непременно со всех сторон рассматриваем. И с одной стороны – хорошо, и с другой – превосходно, а ежели при этом принять во внимание, что язык без костей, то лучшего и желать нельзя! Радуемся, надеемся, торжествуем, славословим – и вся недолга. Даже прохожие удивляются: с чего, мол, люди сбесились? Вот, брат, какие грехи! Понял?

Однако Очищенный недоумевал.

– Позвольте вам доложить, – резонно рассудил он, – в чем же тут грех состоит? Радоваться – ведь это, кажется, не воспрещено? И ежели бы, например, в то время, когда я, будучи тапером, занимался внутренней политикой...

– То-то вот и есть, что в то время умеючи радовались: порадуются благородным манером – и перестанут! А ведь мы как радуемся! и день и ночь! и день и ночь! и дома и в гостях, и в трактирах, и словесно и печатно! только и слов: слава богу! дожили! Ну, и нагнали своими радостями страху на весь квартал!

– А главное, радость наша приняла столь несносный вид, что многие сочли ее за вмешательство, – в свою очередь, пояснил я.

– Понимаю. То самое, значит, что еще покойный Фаддей Бенедиктович выражал: ни одобрений, ни порицаний! Ешь, пей и веселись!

– Вот оно самое и есть. Хорошо, что мы спохватились скоро. Увидели, что не выгорели наши радости, и, не долго думая, вступили на стезю благонамеренности. Начали гулять, в еду ударились, папироски стали набивать, а рассуждение оставили. Потихоньку да полегоньку – смотрим, польза вышла. В короткое время так себя усовершенствовали, что теперь только сидим да глазами хлопаем. Кажется, на что лучше! а? как ты об этом полагаешь?

– Чего еще требовать! Глазами хлопаете – уж это в самую, значит, центру попали!

– А оказывается, что этого мало, да и сами мы, признаться, уж видим, что мало. Хорошо-то оно хорошо, а загвоздочка все-таки есть. Дикости, видишь ты, в нас еще много; сидим дома, никого не видим, папироски набиваем: разве настоящие благонамеренные люди так делают? Нет, истинно благонамеренный человек глазами хлопает – это само по себе, а вместе с тем и некоторые деятельные черты проявляет... Вот мы подумали-подумали, да и решились одно предприятие к благополучному концу привести, чтобы не только словом и помышлением, но и самым делом заявить...

Глумов вдруг оборвал и, обратившись к Балалайкину, сразу огорошил его вопросом:

– Балалайкин! не лги, а отвечай прямо: ты женат? Балалайкин на минуту потерялся, так что даже солгать не успел.

– Женат, – ответил он увядшим голосом и в то же время недоумевающе взглянул на Глумова.

– А как ты насчет двоеженства полагаешь?

Балалайкин сейчас же опять расцвел.

– Вообще говоря – могу! – воскликнул он весело, но тут же, не теряя присутствия духа, присовокупил: – Но, в частности, это, разумеется, зависит...

– Давай же кончать. В два слова... тысячу рублей?

Балалайкин встрепенулся.

– Голубчик! да ведь вы... по парамоновскому делу?

– Да.

– Помилуйте! мне Иван Тимофеич, без всякого разговора, уж три тысячи надавал!

– То была цена, а теперь – другая. В то время охотников мало было, а теперь ими хоть пруд пруди. И все охотники холостые, беспрепятственные. Только нам непременно хочется, чтоб двоеженство было. На роман похожее.

Балалайкин раза три или четыре прошелся по комнате. Цифра застала его врасплох, и он, очевидно, боролся с самим собою и рассчитывал.

– Меньше двух тысяч – нельзя! – сказал он, наконец, решительно, – помилуйте, господа! тысяча рублей! разве это деньги?

– Да ты пойми, за какое дело тебе их дают! – убеждал его Глумов, – разве труды какие-нибудь от тебя потребуются! Съездишь до свадьбы раза два-три в гости – разве это труд? тебя же напоят-накормят, да еще две-три золотушки за визит дадут – это не в счет! Свадьба, что ли, тебя пугает? так ведь и тут – разве настоящая свадьба будет?

– А потом-то... вы забываете?

– Что же "потом"?

– А суд?

– Чудак, братец, ты! сам адвокат, а суда боится! Но тут уж и я счел долгом вступиться.

– Балалайкин! – сказал я, – ничего не видя, вы уже заговариваете о суде! Извините меня, но это чисто адвокатская манера. Во-первых, дело может обойтись и без суда, а во-вторых, если б даже и возникло впоследствии какое-нибудь недоразумение, то можно собственно на этот случай выговорить... ну, например, пятьсот рублей.

– Пятьсот! Ни один лжесвидетель не пойдет показывать в суд меньше чем за двести пятьдесят рублей... Это вам я говорю! А, по обстоятельствам дела, их потребуется, по малой мере, два!

– Но ведь это же пятьсот рублей и есть?

– Позвольте... а что же мне... за труды?

– А тысяча рублей, которую вы получите немедленно по совершении обряда!

– Тысяча... тысяча! – а моральное беспокойство! а трата времени! а репутация человека, который за тысячу рублей... Тысяча, смешно, право! ведь мне свои собратья проходу за эту тысячу не дадут!

И Балалайкин опять в волнении зашагал взад и вперед по комнате, беспрестанно и не без горечи повторяя: тысяча! тысяча!

– Да накинь же ему пять сотенных! – шепнул я на ухо Глумову.

Но не успел он последовать моему совету, как дело приняло совершенно неожиданный оборот. На помощь нам явился Очищенный.

– Позвольте – мне! – скромно напомнил он нам об себе, – я за пятьсот...

Эта благотворная диверсия разом решила дело в нашу пользу; Балалайкин сейчас же сдался на капитуляцию, выговорив, впрочем, в свою пользу шестьсот рублей, которые противная сторона обязывалась выдать в том случае, ежели возникнет судебное разбирательство. Затем подали шампанского и условились, что мы с Глумовым будем участвовать в двоеженстве в качестве шаферов, а Очищенный в качестве посаженного отца. Причем последний без труда выпросил, чтоб ему было выдано десять рублей в виде личного вознаграждения и столько же за прокат платья.

Когда все эти подробности были окончательно регламентированы, Глумов предложил на обсуждение следующий вопрос:

– А теперь вот что, господа! Предположим, что предприятие наше будет благополучно доведено до конца... Балалайкин – получит условленную тысячу рублей, – мы – попируем у него на свадьбе и разъедемся по домам. Послужит ли все это, в глазах Ивана Тимофеича, достаточным доказательством, что прежнего либерализма не осталось в нас ни зерна?

Мнения разделились. Очищенный, на основании прежней таперской практики, утверждал, что никаких других доказательств не нужно; напротив того, Балалайкин, как адвокат, настаивал, что, по малой мере, необходимо совершить еще подлог. Что касается до меня, то хотя я и опасался, что одного двоеженства будет недостаточно, но, признаюсь, мысль о подлоге пугала меня.

– Собственно говоря, ведь двоеженство само по себе подлог, – скромно заметил я, – не будет ли, стало быть, уж чересчур однообразно – *non bis in idem*¹⁷ – ежели мы, совершив один подлог, сейчас же приступим к совершению еще другого, и притом простейшего?

– Теоретически, вы приблизительно правы, – возразил мне Балалайкин, – двоеженство, действительно, есть не что иное, как особый вид подлога; однако ж наше законодательство отличается...

И вдруг меня словно осенило.

– Господа! да о чем же мы говорим! – воскликнул я, жид! жид! окрестить! – вот что нам надобно!

Эта мысль решительно всех привела в умиление, а у Очищенного даже слезы на глазах показались.

– Знаешь ли что! – сказал Глумов, с чувством пожимая мою руку, – эта мысль... зачтется она, брат, тебе! И немного погода присовокупил:

– Подлог, однако ж, дело нелишнее: как-никак, а без фальшивых векселей нам на нашей новой стезе не обойтись! Но жид... Это такая мысль! такая мысль! И знаете ли что: мы выберем жид! белого, крупного, жирного; такого жид! у которого вместо требухи – все ассигнации! только одни ассигнации!

– У меня даже сейчас один такой на примете есть! – заявил Очищенный, – и очень даже охотится.

– И мы подвигнем его на дела благотворительности, – продолжал фантазировать Глумов, – фуфайки, например, карпетки, носки...

– Но не забывай, мой друг, и интересов просвещения! – напомнил я.

– Еще бы! Это – на первом плане. Вот, говорят, в Сибири университет учреждают – непременно надобно, чтоб он хоть одну кафедру на свой счет принял. Какую бы, например?

– Я полагал бы кафедру сравнительной митирогнозии – для Сибири даже очень прилично! – предложил я.

– Чего лучше! Именно кафедру сравнительной митирогнозии – давно уж потребность-то эта чувствуется. Ну, и еще: чтобы экспедицию какую-нибудь ученую на свой счет снарядил... непременно, непременно! Сколько есть насекомых, гадов различных, которые только того и

¹⁷ Никто не должен дважды отвечать за одно и то же.

ждут, чтобы на них пролился свет науки! Помилуйте! нынче даже в вагонах на железных дорогах везде клопы развелись!

– Позвольте вам доложить, – вступился Очищенный, – есть у нас при редакции человек один, с малолетства сочинение "о Полярном клопе" пишет, а публиковать не осмеливается...

– Почему не осмеливается?

– Да наблюдения, говорит, недостаточно точны. Вот если бы ему по России с научною целью поездить, он бы, может, и иностранцев многих затмил.

– Отлично. А как ты полагаешь, приятелю твоему десяти тысяч на экспедицию достаточно будет?

– Помилуйте! да с такими деньгами он даже к родственникам в Пермскую губернию съездит!

– Пускай едет. Для пользы науки нам чужих денег не жалко. Нет ли еще каких нужд? Проси!

– Осмелюсь... Вот вы изволили сейчас насчет этой науки выразиться... Митирогнозия, значит... Самая эта наука мне знакомая... Так нельзя ли кафедре-то мне предоставить!

– Будем иметь в виду.

Затем Очищенный предъявил еще несколько ходатайств и на все получил от Глумова благоприятный ответ. Наконец, наш *ordre du jour*¹⁸ исчерпался, и Глумов, закрывая заседание, счел долгом произнести краткое резюме.

– Итак, господа, – сказал он, – все вопросы, подлежавшие нашему обсуждению, благополучно решены. Вот занятия, которые предстоят нам в ближайшем будущем. Во-первых, мы обязываемся женить Балалайкина, при живой жене, на "штучке" купца Парамонова (одобрение на всех скамьях). Во-вторых, мы имеем окрестить жида; в-третьих, как это ни прискорбно, но без подлога нам обойтись нельзя...

Он остановился на минуту и вдруг, как бы под наитием внезапного вдохновения, продолжал:

– Позвольте, господа! уж если подлог необходим, то, мне кажется, самое лучшее – это пустить тысячу на тридцать векселей от имени Матрены Ивановны в пользу нашего общего друга, Ивана Ивановича? Ведь это наш долг, господа! наша нравственная, так сказать, обязанность перед добрым товарищем и союзником... Согласны?

Вместо ответа последовал взрыв рукоплесканий. Очищенный кланялся и благодарил.

– Это даже и для Матрены Ивановны не без пользы будет! – говорил он со слезами на глазах, – потому заставит ее прийти в себя!

– Прекрасно. Стало быть, и еще один пункт решен. Объявляю заседание закрытым.

¹⁸ Порядок дня.

VIII

Мы возвращались от Балалайкина уже втроем, и притом в самом радостном расположении духа. Мысль, что ежели подвиг благонамеренности еще не вполне нами совершен, то, во всяком случае, мы находимся на прямом и верном пути к нему, наполняла наши сердца восхищением. «Да, теперь уж нас с этой позиции не вышибешь!» – твердил я себе и улыбался такой широкой, сияющей улыбкой, что стоявший на углу Большой Мещанской будочник, завидев меня, наскоро прислонил алебарду к стене, достал из кармана тавлинку и предложил мне понюхать табачку.

Так шли мы от Фонарного переулка вплоть до Литейной, и на всем пути будочники делали алебардами "на кра-ул!", как бы приветствуя нас: "Здравствуйте, вступившие на истинный путь!" Придя на квартиру, мы сдали Очищенного с рук на руки дворнику и, приказав сводить его в баню, поспешили с радостными вестями к Ивану Тимофеичу.

Дежурный подчасок сказал нам, что Иван Тимофеич занят в "комиссии", которая в эту минуту заседала у него в кабинете. Но так как мы были люди свои, то не только были немедленно приняты, но даже получили приглашение участвовать в трудах.

Комиссия состояла из трех членов: Ивана Тимофеича (он же презус), письмоводителя Прудентова и брантмейстера Молодкина. Предмет ее занятий заключался в разработке нового устава "о благопристойном обывателей в своей жизни поведении", так как прежние по сему предмету "временные правила" оказывались преисполненными всякого рода неясностями и каламбурами, вследствие чего неблагопристойность возрастала не по дням, а по часам.

– Прекрасно сделали, что зашли; я и то уж думал за вами посылать, – приветствовал нас Иван Тимофеич, – вот комиссию на плечи взвалили, презусом назначили... Устав теперича писать нужно, да писатели-то мы, признаться, горевые!

– А можно полюбопытствовать, в чем состоит предмет занятий комиссии?

– Благопристойность вводить хотят. Это конечно... много нынче этого невежества завелось, в особенности на улицах... Одни направо, другие – налево, одни – идут, другие – неведомо зачем на месте стоят... Не сообразишь. Ну, и хотят это урегулировать...

– Чтобы, значит, ежели налево идти – так все бы налево шли, а ежели останавливаться, так всем чтобы разом? – выразил Глумов догадку.

– То, да не то. В сущности-то оно, конечно, так, да как ты прямо-то это выскажешь? Нельзя, мой друг, прямо сказать – перед иностранцами нехорошо будет – обстановочку надо придумать. Кругленько эту мысль выразить. Чтобы и слушник знал, что его по голове не погладят, да и принуждения чтобы заметно не было. Чтобы, значит, без приказов, а так, будто всякий сам от себя благопристойность соблюдает.

– Трудная эта задача. Любопытно, как-то вы справляетесь с нею?

– Да вот вчера "общие положения" набросали, а сегодня и "улицу" прикончили. Написали довольно, только, признаться, не очень-то нравится мне!

– Помилуйте, Иван Тимофеич, чего лучше! – обиделся Прудентов, который, по-видимому, был душою и воротилой в комиссии.

– Порядку, братец, нет. Мысли хорошие, да в разбивку они. Вот я давеча газету читал, так там все чередом сказано: с одной стороны нельзя не сознаться, с другой – надо признаться, а в то же время не следует упускать из вида... вот это – хорошо!

Иван Тимофеич уныло покачал головой и задумался.

– Да, нет у нас этого... – продолжал он, – пера у нас вольного нет! Уж, кажется, на что знакомый предмет – всю жизнь благопристойностью занимался, а пришлось эту самую благопристойность на бумаге изобразить – шабаш!

– Да вы как к предмету-то приступили? исторический-то обзор, например, сделали? – полюбопытствовал Глумов.

– Какой такой исторический обзор?

– Как же! нельзя без этого. Сперва надобно исторический обзор, какие в древности насчет благопристойного поведения правила были, потом обзор современных иностранных по сему предмету законодательств, потом – свод мнений будочников и подчасков, потом – объяснительная записка, а наконец, уж и "правила" или устав.

– Так вот оно как?

– Непременно. Нынче уж эта мода прошла: присел, да и написал. Нет, нынче на всякую штуку оправдательный документ представь!

– То-то я вижу, как будто не тово... Неведомо будто, с чего мы вдруг эту материю затеяли...

– Позвольте вам доложить, – вступился Прудентов, – что в нашем случае ваша манера едва ли пригодна будет.

–, Но почему же?

– Да возьмем хоша "Современные законодательства". Хорошо как они удобные, а коли ежели начальство стеснение в них встретит...

– Голубчик! так ведь об таких законодательствах можно и не упоминать! Просто: нет, мол, в такой-то стране благопристойности – и дело с концом.

– Нельзя-с; как бы потом не вышло чего: за справку-то ведь мы же отвечаем. Да и вообще скажу: вряд ли иностранная благопристойность для нас обязательным примером служить может. Россия, по обширности своей, и сама другим урок преподавать может. И преподает-с.

– Ах, да разве я говорю об этом? Но ведь для вида... поймите вы меня: нужно же вид показать!

– А для вида – и совсем нехорошо выйдет. Помилуйте, какой тут может быть вид! На днях у нас обыватель один с теплых вод вернулся, так сказывал: так там чисто живут, так чисто, что плюнуть боишься: совестно! А у нас разве так возможно? У нас, сударь, доложу вам, на этот счет полный простор должен быть дан!

Возник спор, и я должен сказать правду, что Глумов вскоре вынужден был уступить. Прудентов, целым рядом неопровержимых фактов, доказал, что наша благопристойность так близко граничит с неблагопристойностью, что из этого создается нечто совершенно своеобразное и нам одним свойственное. А кроме того: заграничная благопристойность имеет характер исключительно внешний (не сквернословь! не буйствуй! и т. п.), тогда как наша благопристойность состоит не столько в наружных проявлениях благоповедения, но в том главнейше, чтобы обыватель памятовал, что жизнь сия есть временная и что сам он – скудельный сосуд. Так, например, плевать у нас можно, а "иметь дерзкий вид" – нельзя; митирологией заниматься – можно, а касаться внутренней политики или рассуждать о происхождении миров – нельзя.

– А ведь он, друзья, правду говорит! – обратился к нам Иван Тимофеич, – точно, что у нас благопристойность своя, особливая...

– А еще и на следующее могу указать, – продолжал победоносный Прудентов, – требуется теперича, чтобы мы, между прочим, и правила благопристойного поведения в собственных квартирах начертали – где, спрошу вас, в каких странах вы соответствующие по сему предмету указания найдете? А у нас – без этого нельзя.

– Правда! – торжественно подтвердил Иван Тимофеич.

– Правда! – откликнулись и мы.

– Иностранец – он наглый! – развивал свою мысль Прудентов, – он забрался к себе в квартиру и думает, что в неприступную крепость засел. А почему, позвольте спросить? – а

потому, сударь, что начальство у них против нашего много к службе равнодушнее: само ни во что не входит и им повадку дает!

– Правда! – подтвердил Иван Тимофеич.

– Правда! – откликнулись мы.

– Уж так они там набалованы, так набалованы – совсем даже как оглашенные! – присокупил Иван Тимофеич, – и к нам-то приедут – сколько времени, сколько труда нужно, чтоб их вразумить! Есть у меня в районе француз-перчаточник, только на днях я ему и говорю: "смотри, Альфонс Иванович, я к тебе с визитом собираюсь!" – "В магазин?" – спрашивает. "Нет, говорю, не в магазин, а туда, в заднюю каморку к тебе хочу взглянуть, как ты там, каково поживаешь, каково прижимаешь... республик и все такое"... Так он, можете себе представить, даже на меня глаза вытаращил: "не может это быть!" – говорит. Вот это какой закоснелый народ!

– И вы... да неужто же вы так и оставили это? – возмутились мы с Глумовым до глубины души.

– Что ж... я?! повертелся-повертелся – вздохнул и пошел в овошенную... там уж свою обязанность выполнил... Ах, друзья, друзья! наше ведь положение... очень даже щекотливое у нас насчет этих иностранцев положение! Разумеется, предостерег-таки я его: "Смотри, говорю, однако, Альфонс Иванович, мурлыкай свою республик, только ежели, паче чаяния, со двора или с улицы услышу... оборони бог!"

– Что ж он?

– Смеется – что с ним поделаешь!

– Однако ж, какую власть взяли!

– Вольница – одно слово.

– Так вот по этому образцу и извольте судить, каких примеров нам следует ожидать, – вновь повел речь Прудентов, – теперича в нашем районе этого торгующего народа – на каждом шагу, так ежели всякий понятие это будет иметь да глаза таращить станет – как тут поступать? А с нас, между прочим, спрашивают!

– Чтобы нигде, ни-ни... упаси бог!

– Нам нужно, чтоб он, яко обыватель, во всякое время всю свою обстановку предоставил, а он вместо того: "Не может это быть!"

– Правда! – подтвердил Иван Тимофеич.

– Правда! – откликнулись мы.

Точно так же не выгорел и вопрос об исторической благопристойности, хотя Глумов и энергически отстаивал его.

– Позвольте вам доложить, – возразил Прудентов, – зачем нам история? Где, в каких историях мы полезных для себя указаний искать будем? Ежели теперича взять римскую или греческую историю, так у нас ключ от тогдашней благопристойности потерян, и подлинно ли была там благопристойность – ничего мы этого не знаем. Судя же по тому, что в учебниках об тогдашних временах повествуется, так все эти греки да римляне больше безначалием, нежели благопристойностью занимались.

– А у нас этого нельзя! да-с, нельзя-с! – подтвердил Иван Тимофеич и при этом взглянул на нас так внушительно, что я, признаться, даже попенял на Глумова, зачем он эту материю шевельнул.

– Кто говорит, что можно! – оборонился Глумов, – но ежели древние греческие и римские образцы непригодны, так ведь у нас и своя история была.

– А насчет отечественных исторических образцов могу возразить следующее: большая часть имевшихся по сему предмету документов, в бывшие в разное время пожары, сгорела, а то, что осталось, содержит лишь указания краткие и недостаточные, как, например: одним – выщипывали бороды по волоску, другим ноздри рвали. Судите поэтому сами, какова у нас в древности благопристойность была!

– Голубчик! да ведь не всем же... Ведь мы с вами... происходим же мы от кого-нибудь! В России-то семьдесят миллионов жителей считается, и у всех были отцы... Уцелели же, стало быть, они!

– По снисхождению-с.

Словом сказать, и на исторической почве Прудентов оказался неуязвимым. И что всего досаднее: не только Иван Тимофеич явно склонился на сторону дельца-письмоводителя, но и Молодкин самодовольно и глупо хихикал, радуясь нашему поражению.

Оставалось последнее убежище: устные предания, народная мудрость, пословицы, поговорки. Но и тут Прудентов без труда восторжествовал.

– Насчет народной мудрости можно так сказать, – возразил он, – для черняди она полезна, а для высокопоставленных лиц едва ли руководством служить может. Устное-то предание у нас и доселе одно: сколько влезет! – так ведь это предание и без того куда следует, в качестве материала, занесено. Что же касается до поговорок, то иногда они и совсем в нашем деле не пригодны. Возьмем, для примера, хоть следующее. Народ говорит: по Сеньке – шапка, а по обстоятельствам дела выходит, что эту поговорку наоборот надо понимать.

– Почему же так?

– А потому что потому-с. Начальство – вот в чем причина! Сенек-то много-с, так коли ежели каждый для себя особливой шапки потребует... А у нас на этот счет так принято: для сокращения переписки всем чтобы одна мера была! Вот мы и пригоняем-с. И правильно это, доложу вам, потому что народ – он глуп-с.

– Да еще как глуп-то! – воскликнул Иван Тимофеич, – то есть так глуп, так глуп!

Напоминание о народной глупости внесло веселую и легкую струю в наш разговор. Сначала говорили на эту тему члены комиссии, а потом незаметно разразились и мы, и минут с десять все хором повторяли: ах, как глуп! ах, как глуп! Молодкин же, воспользовавшись сим случаем, рассказал несколько сцен из народного быта, право, ничуть не уступавших тем, которыми утешается публика в Александрийском театре.

– А вы еще об народной мудрости изволите говорить! – укоризненно заключил Прудентов, обращаясь к Глумову.

– И все-таки извините меня, а я этого понять не могу! – не унимался Глумов, – как же это так? ни истории, ни современных законодательств, ни народных обычаев – так-таки ничего? Стало быть, что вам придет в голову, то вы и пишете?

– Прямо от себя-с. Имеем в виду одно обстоятельство: чтобы для начальства как возможно меньше беспокойства было – к тому и пригоняем.

Теория эта хотя и давно нам была знакома, но на этот раз она была высказана так безыскусственно, прямо и решительно, что мы на минуту умолкли, как бы под влиянием приятной неожиданности.

– Любопытно! – произнес, наконец, Глумов, первый стряхнув с себя гнет очарования.

– А коли любопытно, так не угодно ли с трудами нашими ознакомиться? – предложил Прудентов. – Нам даже очень приятно, что образованные люди прожеками нашими интересуются. Иван Тимофеич! дозволите?

Разумеется, Иван Тимофеич охотно согласился, и Прудентов прочел:

УСТАВ

о благопристойном обывателей в своей жизни поведении

Общие начала

"Ст. 1-я. Всякий обыватель да помнит, что две главнейших цели пред ним к непременно достижению предстоят: в сей жизни – благопристойное во всех местах нахождения поведение, в будущей – вечное блаженство.

Ст. 2-я. Обе сии цели, составляя начало и конец одной и той же, от веков предустановленной и начальством одобренной, цепи, состоят, однако же, в заведовании двух совершенно отличных ведомств. А именно: первая ведается обыкновенными, от гражданского начальства учрежденными властями, вторая же подлежит рассмотрению религии.

Ст. 3-я. Благопристойность, составляющая предмет настоящего устава, по существу своему разделяется на внешнюю и внутреннюю. По месту же нахождения обывателя, на благопристойность, обнаруживаемую: а) на улицах и площадях; б) в публичных местах и в) в собственных обывателей квартирах.

Ст. 4-я. Внешняя благопристойность выражается в действиях и телодвижениях обывателя; внутренняя – создает себе храм в сердце его. А посему, наиболее приличными местами наблюдения за первую признаются: улицы, площади и публичные места; последнюю же всего удобнее наблюдать в собственных квартирах обывателей.

Ст. 5-я. Сии общие начала, взятые в нераздельной их совокупности, составляют краеугольный камень, на котором зиждется все последующее здание благопристойности. А равным образом и изречение: начальству да повинуются, ибо все приказания отдавать, ежели оные не исполнять".

– Это – общие начала, – сказал Прудентов, прерывая чтение и самодовольно поглядывая на нас, – имеете сделать какое-либо замечание?

Вместо ответа, мы взяли Прудентова за руку и долго и с чувством жали ее.

– Не только ничего не имеем, – сказал Глумов взволнованным голосом, – но даже... удивительно это, голубчик, как вы в нескольких штрихах все истинные потребности времени обрисовали! Именно, именно так: "собственные квартиры"! – вот где настоящая нить завязки романа гнездится! Само провидение вам, друг мой, внушило эту мысль!

– Итак, будем продолжать-с.

Пар. 1-ый

О благопристойном поведении на улицах и площадях

"Ст. 1-я. В отношении благопристойного поведения на улицах и площадях, город разделяется на три района. Первый обнимает собой набережную реки Невы от крайних пределов Английской набережной и оканчивая Литейным Двором; затем, идя по Литейной улице до конца оной, поворотить по Невскому проспекту до Большой Морской, а оттуда идти по Конногвардейскому бульвару и вновь вступить на Английскую набережную. Второй район составляют остальные части города по сю сторону Невы, за исключением Рождественской и Нарвской частей, а равно и Васильевский остров по 14-ю линию включительно. В третий район входят прочие местности, а также Сенная площадь.

Ст. 2-я. Внутренняя благопристойность во всех сих районах требуется одинаковая. Что же касается до благопристойности внешней, то, дабы предоставить обывателям возможные по сему предмету облегчения, только в первом районе предписывается благопристойность безусловная; затем во втором районе допускается благопристойность меньшая против первого района; в третьем же районе разрешаются и прямые от внешней благопристойности отклонения.

Ст. 3-я. Все вообще площади, улицы и переулки предоставляются в распоряжение публики; а посему обывателям не возбраняется посещение их, как для прогулок, так и для прочих надобностей, кроме, впрочем, вводящих в соблазн.

Ст. 4-я. Всякий проходящий на улицу или площадь имеет право обращаться на оных свободно, не стесняя себя одною стороною или одним направлением, но переходя, по надобности, и на другую сторону, а равным образом заходя и в ближайшие переулки. Но без надобности, а тем паче с явным намерением затруднить надзор, соваться взад и вперед воспрещается.

Ст. 5-я. Однообразной формы одежды для пребывания на улицах и площадях не полагается. Всякий да будет одет, как сам пожелает и как состоянию его приличествует. Но само собою разумеется, что выражение "одежда" должно быть принимаемо в настоящем его значении, и что никакой игры слов по сему поводу не допускается.

Ст. 6-я. Разрешается, при встрече с знакомыми, остановившись или по желанию и продолжая совместно путь, вступать в приличный разговор. При сем под выражением "приличный разговор" следует разуметь: а) воспоминания о приятно проведенном времени; б) предположения о возможности такого же времяпровождения в ближайшем будущем; в) расспросы о здоровье начальствующих лиц, а равно родных и близких, не опороченных по суду; г) воспоминания о слышанном и виденном на экономических обедах; д) анекдоты из жизни цензоров Красовского и Бирукова; е) рассказы из народного быта и ж) вообще всякие легкие изречения, кои не могут подать повода для превратных толкований. Но "критика" безусловно возбраняется.

Ст. 7-я. Поговорив между собою, обыватели, ежели они при этом не сделали другого какого-либо противозаконного проступка, могут разойтись, и не dokonчив начатой материи, за что никакому взысканию не подвергаются.

Ст. 8-я. Воровать, грабить и тем паче убивать не дозволяется вовсе. Лица, учинившие таковые поступки, немедленно отводятся в ближайшую будку, оттуда в подлежащий квартал, а затем и в часть.

Ст. 9-я. Тем не менее, ежели кто заметит со стороны проходящего явное покушение на его собственность или жизнь, то не должен о сем заявлять неистовым голосом, а обязывается, ухватив покушающегося за руку, держать крепко, дабы не вырвался.

Ст. 10-я. Ежели бы, паче чаяния, случилось, что потерпевшее лицо, не будучи в состоянии удержать обидчика, выпустит его, то таковой случай надлежит считать неосуществившимся от независящих обстоятельств.

Ст. 11-я. При встречах с знакомыми дамами, предоставляется, отдав учтивый поклон, расспрашивать о здоровье. Буде же встретится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продолжать путь в молчании, не позволяя себе никаких аллегорических телодвижений.

Ст. 12-я. Вообще, да ведомо будет всем и каждому, что особа женского пола есть существо слабое и снисхождения заслуживающее. Посему не тот достоин похвалы, кто оную с правого пути на погибельный совратит, а тот, кто и заблудшую в лоно целомудрия водворит.

Ст. 13-я. Относительно образа мыслей, яко дара сокровенного, никаких правил, в какой силе оный содержать, не полагается. Тем не менее дабы не оставить желающих без надлежащего в сем случае наставления,

предписывается будочникам, при проходе мимо них обывателей, делать соответствующие духу времени предостережения.

Ст. 14-я. Но ежели бы в выражении лица обывателя была замечена столь явная злоумышленность, что и сомневаться в оной нельзя, то таковой, без потери времени, приводится в съезжий дом для исследования.

Ст. 15-я. При найме извозчиков, ежели надобность сия возникнет в первом районе – следует безусловно воздерживаться от сквернословия; во втором районе – воздерживаться лишь по мере возможности; в третьем же районе – воздержание или невоздержание оставляется на волю каждого, с тем лишь ограничением, дабы сквернословие прилагалось не по произволу сквернословящего, но по заслугам сквернословимого.

Ст. 16-я. Лица дворянского происхождения да памятуя, что ношение бород им несвойственно, а право ношения усов присвоено лишь лицам военного звания. Равным образом, и о прическе сказать надлежит, что она не должна быть ни слишком длинною, ни слишком короткою. Лучшая прическа – средняя.

Ст. 17-я. Петть и свистать (но не громогласно) не возбраняется, ибо сие означает удовольствие. Для начальства же ничто столь не приятно, как ежели подчиненные, без унылости и во всем расположась на волю оною, время проводят.

Ст. 18-я. Проходя мимо памятников, надлежит, замедлив шаги, изобразить на лице восторженность. Если же, по причине охлаждения лет или вследствие долговременной и тяжелой болезни, восторженность представляется трудно достижимою, то заменить оную простою задумчивостью. Как восторженность, так и задумчивость будут в сем случае служить доказательством твердого намерения обывателя уподобиться сим героям, дабы впредь проводить время так, как оные при жизни своей проводили, за что и удостоены от начальства монументов.

Ст. 19-я. Когда таковых вознамерившихся подражать монументам обывателей наберется достаточно, то всем им составляется подробный список, который и препровождается в особую монументную комиссию. Сия же последняя, при рассмотрении списков, руководится тою мыслию, что, чем более будет воздвигнуто монументов (хотя бы и средних размеров), тем охотнее всякий будет содержать в своем сердце ожидание столь отличной награды и в сем ожидании почерпать повод для добродетельной жизни.

Ст. 20-я. При входе в баню, воспрещается снимать с себя одежду прежде, нежели обыватель войдет в притвор.

Ст. 21-я. При встрече с лицами высшими предоставляется выражать вежливое изумление и несомненную готовность претерпеть; при встрече с равными – гостеприимство и желание оказать услугу; при встрече с низшими – снисходительность, но без послабления.

Ст. 22-я. Подавать нищим не возбраняется, но полезно при сем напоминать им, что только тот хлеб сладок, который добывается трудом.

Ст. 23-я. Ибо только то отечество процветает, которое, давая труду исход и направление, в то же время оплодотворяет его соответствующим капиталом, а в случае отсутствия такового – кредитом, с обязанностью взятое своевременно с надлежащими процентами уплатить. Что вполне подтверждается и собеседованиями, производимыми на экономических обедах.

Ст. 24-я. Равным образом и о монетной единице не лишне здесь упомянуть. Тщетно будем мы употреблять выражение "рубль", коль скоро он полтину стоит; однако ежели начальство находит сие правильным, то желание его надлежит выполнить беспрекословно. Так точно и в прочих человеческих делах.

Ст. 25-я. Все, что в сих правилах не указано, яко невозбранное, тем самым уже ставится в разряд возбраненного. В случае же сомнения, лучше всего, не продолжая прогулки, возвратиться домой и там размыслить".

Голос Прудентова смолк.

– Все? – спросил Глумов.

– Покуда – все-с. А там пойдут правила о благопристойном поведении в банях и других публичных местах, и наконец, о благопристойности в собственных квартирах.

– Голубчик! Флегонт Васильич (так звали Прудентова)! позволь мне часика на два твой устав! Я тебе в "общие начала" – чуточку "злой и порочной воли" подпущу! Нельзя без этого, друг мой! Голо!

Предложение это было сделано так искренно и, притом, с таким горячим участием, что Прудентов не только не обиделся, но, вместо ответа, простер к Глумову обе руки, вооруженные проектом устава. И мы вдруг, совершенно незаметно, начали с этой минуты говорить друг другу "ты".

– Вот и прекрасно! – продолжал Глумов, – кстати, позволь уж и параграф об улицах просмотреть. Шероховатости местами попадают; сейчас: "при входе в баню", и тут же следом: "при встрече с лицами высшими" – нехорошо, братец!

– Да, уж поправь! сделай милость, поправь! – присовокупил свою просьбу и Иван Тимофеич, – я ведь и сам... Вижу, что не тово... например: "равным образом, и о монетной единице"... а почему "равным образом", и точно ли "равным образом" – сказать не могу!

– Поправлю! все поправлю! А главное – "злой и порочной воли" подпустить надо! Непременно подпустить. Потому что без этого, понимаешь ты, ведь и в "квартиры" войти неловко! А коли "злая и порочная воля" есть, так везде тебе вход открыт!

Глумов сложил устав вчетверо и бережно положил его в карман. Потом, с свойственным ему любезно-вызывающим видом, взглянул на Ивана Тимофеича и продолжал:

– Иван Тимофеич! а ведь мы... нет, угадай, с чем мы к тебе пришли?

– Водки, что ли, велеть подать? – натурально прежде всего догадался Иван Тимофеич.

– Ан вот и не отгадал! Водка – само собой, а помнишь об парамоновской "штучке" ты нас просил? Ведь Балалайкин-то... со-гла-сил-ся!

– Ну, слава богу!

– И денег, знаешь ли, сколько выпросил?.. ты-ся-чу шестьсот! Совсем! и с будущим судебным разбирательством, ежели таковое возникнет!

– Слава богу! слава богу! вот это... ну, слава богу! Ссслава богу! – повторял Иван Тимофеич, захлебываясь и пожимая нам руки, – ну, надо теперь бежать, обрадовать старика надо! А к вечеру и вам весточку дам, что и как... дру-з-з-з-зя!

Мы повеселели окончательно, так что Глумов позволил даже себе пошутить с Молодкиным, обратившись к нему с вопросом:

– Ну, а ты, Афанасий Семеныч! что ты молчишь, приуныл? как будто благопристойность-то эта не совсем тебе по нутру?

На что Молодкин очень мило ответил:

– У меня своя часть – пожары-с! А благопристойности этой... признаюсь, я даже совсем не понимаю!

IX

Придя домой, мы нашли Очищенного уже возвратившимся из бани. Он прохаживался в довольно близком расстоянии от шкапа, в котором хранился графин с водкой, но, к чести нашего друга, мы должны были сознаться, что в отсутствие наше ничего в квартире у нас не пропало.

– Вот, брат, могли ли мы думать, выходя сегодня утром, что все так прекрасно устроится! – сказал мне Глумов. – И с Балалайкиным покончили, и заблудшего друга обрели, а вдобавок еще и на "Устав" наскочили! Ведь этак, пожалуй, и мы с тобой косвенным образом любезному отечеству в кошель накласть сподобимся!

Слова эти настроили нас на благодушный лад. А так как праздного времени у нас было пропасть, то мы решились посвятить его благопотребно-философическим размышлениям. Наше случайное привлечение к участию в работах комиссии по составлению "Устава благопристойности" представило для таких размышлений обильный и вполне подходящий матерьял. В самом деле, не предопределение ли это? Стоит только подпустить в "Устав" с воробынью погадку "злой и порочной воли" (а это вполне теперь от нас зависит), и доступ в квартиры делается свободным навсегда! Не то чтобы доступ этот не был свободен и прежде – нет, в этом отношении мы новаторами назваться не можем! – но прежде этот необходимый акт общественной безопасности производился как-то грубо, а потому казался неестественным. Охочий человек молча приходил в квартиру, молча же отмыкал помещения, и на вопрос; чего вы ищете? не мог даже ответить порядком, какая вещь из квартирной обстановки ему приглянулась. Разве такая форма ограждения домашнего очага может быть названа удовлетворительною? Напротив того, теперь, благодаря нашему просвещенному содействию, тот же охочий человек совершит то же самое, но при этом скажет: по слухам, в этой квартире скрывается злая и порочная воля – извольте представить ключи! Кто же позволит себе найти это требование ненатуральным?

– Да, господа, – сказал Глумов, – нередко и малые источники дают начало рекам, оплодотворяющим неизмеримые пространства. Так-то и мы. Пусть эта мысль сопутствует нам в трудах наших, и да даст она нам силу совершить предпринятое не к стыду, но к славе нашего отечества!

Разумеется, я ничего не имел возразить против такого напутствия, а Очищенный даже перекрестился при этом известии и произнес: дай бог счастливо! Вообще этот добрый и опытный старик был до крайности нам полезен при наших философических беседах. Стоя на одной с нами благопотребно-философической высоте, он обладал тем преимуществом, что, благодаря многолетней таперской практике, имел в запасе множество приличествующих случаю фактов, которые поощряли нас к дальнейшей игре ума.

К. стыду отечества совершить очень легко, – сказал он к славе же совершить, напротив того, столь затруднительно, что многие даже из сил выбиваются, и все-таки успеха не достигают. Когда я в Проломновской губернии жил, то был там один начальствующий – так он всегда все к стыду совершал. Даже посторонние дивились; спросят, бывало: зачем это вы, вашество, все к стыду да к стыду? А он: не могу, говорит: рад бы радостью к славе что-нибудь совершить, а выходит к стыду!

– Ах, черт возьми!

– И даже как, я вам доложу! перешел он после того в другое ведомство, думает: хоть там не выйдет ли чего к славе – и хоть ты что хошь! Так в стыде и отошел в вечность!

– Однако!

– И когда, при отпевании, отец протопоп сказал: "Вот человек, который всю жизнь свою, всеусердно тщась нечто к славе любезнейшего отечества совершить, ничего, кроме действий,

клоняющихся к несомненному одного стыду, не совершил", то весь народ, все, кто тут были, все так и залились слезами!

– Еще бы! разумеется жалко!

– И многие из предстоявших начальствующих лиц в то время на ус себе это намотали!

– Намотали-то намотали, да проку от этого мало вышло!

– Это уж само собой. А вот, что вы изволили насчет малых источников сказать, что они нередко начало большим рекам дают, так и это совершенная истина. Источнику, даже самому малому, очень нетрудно хорошей рекой сделаться, только одно условие требуется: понравиться нужно.

– Отчего же ты сам...

– Удачи мне не было – вот почему. Это ведь, сударь, тоже как кому. Иной, кажется, и не слишком умен, а только взглянет на лицо начальниче, сейчас истинную потребность видит; другой же и долго глядит, а ничего различить не может. Я тоже однажды "понравиться" хотел, ан заместо того совсем для меня другой оборот вышел.

– Бедный ты, бедный!

– Да, сударь. Состоял я в то время под следствием, по делу о злоупотреблении помещичьей власти, и приехал в губернию хлопотать. Туда-сюда, только и говорит мне один человек: дело твое, говорит, даже очень хорошо направить можно, только постарайся ему понравиться. И научил он меня, знаете, на смех: съезди, говорит, к обедне, вынь за здоровье просвирку и свежи ему: страсть как он это любит! Так я и сделал. Приезжаю это к нему, прошу доложить, а сам просвирку в руке держу. Выходит. Взял мою просвирку, повертел в руках, разломил пополам, потом начетверо... И вдруг: так ты, говорит, боговдохновенную взятку мне хотел всучить... вон!!

– Не понравился, значит?

– То-то, что я совет-то того человека не в надлежащей силе понял. Просвирки-то он действительно любил, да с начинкою.

– Стало быть, если б ты в ту пору истинную потребность угадал, так, может, и теперь бы течение имел, да выкупными свидетельствами поигрывал.

– Беспременно-с. "Понравиться" – в этом вся наша здешняя жизнь состоит. Вот, например, с одним моим знакомым какой случай был. Начальник у него был вроде как омраченный. Все дела департаментские на цифры переложил, на всякий предмет свою особую форму ведомства преподал и строго-престрого следил, чтобы ни в одной, значит, графе ни одного пустого места не оставалось. Только однажды подали ему ведомость – он ее и так и этак, и сверху вниз и снизу вверх, и поперек – недостает четь копейки, да и шабаш! Взбунтовал весь департамент, ищут, шарят – нет четь копейки! А он, знакомый-то мой, знал. Пришел это прямо к начальнику пред лицо и говорит: вот она! И точно, стали это, по указанию его, проверять – тут как тут! Сейчас это его в баню сводили, на счет канцелярских остатков вымыли, одели, обули – и первым человеком сделали!

Пример этот навел нас на мысль, что, независимо от умения "понравиться", в жизни русского человека играет немаловажную роль и волшебство.

– Загляните в любую книжку "Русской старины", "Русского архива" – что найдете вы там, кроме фактов самого поразительного волшебства? – выразил свое мнение Глумов.

– Да что, сударь, в "Русскую старину" заглядывать – и нынче этого волшебства даже очень достаточно, – подтвердил Очищенный, – так довольно, что иногда человек даже не мыслит ни о чем – ан с ним переверот. На моей еще памяти случай-то этот был, что мылись два человека в бане: один – постарше, а другой – молодой. Только постарше-то который и спрашивает молодого: какие, по твоему мнению, молодой человек, необходимейшие законы, в настоящее время, к изданию потребны? Тот взял да и назвал. И что ж! на другой день за ним – курьер! Посадили раба божьего в тележку, привозят: "извольте, говорит, те самые законы написать,

о которых вчера в известном вам месте суждение имели!" Ну, он сел и написал. Да как еще написал-то: в трех строках всю что ни на есть подноготную изобразил! А теперь у него, сударь, тысяча душ, в Саратовской губернии, да дом у Харламова моста, да дочь свою он за камер-юнкера отдал... И все через то, что настоящую минуту избрал, когда в баню идти! Как вы скажете: от себя ему эта мысль пришла или от предопределения?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.